

В 1828 году в Москве появилась книжка: «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном. С приложением отрывка из одного недоконченного сочинения Байрона. (С английского). П. К.» Она стала большой редкостью уже в начале нашего века; считанные экземпляры ее сохранились ныне лишь в очень крупных библиотеках. Эту книгу, никогда не переиздававшуюся, мы и предлагаем вниманию читателей.

ВАДИМ ВАЦУРО

НЕНАСТНОЕ ЛЕТО В ЖЕНЕВЕ, ИЛИ

1. Англичане в Швейцарии

Вся эта история, о которой далее пойдет речь, могла бы сложиться иначе, если бы летом 1816 года на Женевском озере стояла ясная погода. Но в иные дни дождь начинался с самого утра, и компания путешествующих англичан должна была коротать время в вынужденном затворничестве, за чтением и беседами. Правда, они еще и писали сами — в прозе и стихах, благо почти все были причастны к литературе, а двое были гениями.

Гениями были Байрон и Шелли.

Оба они удалились в добровольное изгнание, как Чайльд-Гарольд, оба оставили позади, в Англии, любовные трагедии, домашние неурядицы, общественное мнение, отвергшее их как людей аморальных, безбожных, неблагонадежных политически.

В Швейцарии для них должна была начаться новая жизнь.

Шелли привез с собой Мери Уоллстонкрафт-Годвин, девятнадцатилетнюю дочь знаменитого философа и писателя, которую он романтически похитил из родительского дома. Это был скандальный гражданский брак, ибо первый брак Шелли не был расторгнут. Второй спутницей его была сводная сестра и ближайшая подруга Мери — Джейн Клер Клермонт, которую ждала судьба не менее, быть может, романтическая. Клер была экзальтированно влюблена в Байрона, которого потом столь же остро ненавидела. В Швейцарии началась их близость, и уже в Англии появилось новое существо — Аллегра, дочь Байрона и Клер Клермонт; ей суждено будет провести в этом мире всего пять лет.

Клер влекли к себе яркие люди, пылкие страсти, поэзия и музыка. Она мечтала о сцене. Байрон посвятил ей «Стансы для музыки», написанные весной 1816 года. Но в его собственной жизни она осталась всего лишь эпизодом.

Он был достаточно силен и горд, чтобы сожалеть о резкой перемене своей судьбы: позади — слава, общественное положение, незапятнанное имя; впереди — ненависть, сплетни, горький хлеб изгнанника. Быть может, самые его трагические произведения — «Сон» и «Тьма», с ее апокалиптическими видениями, — вылились из-под его пера здесь, в Швейцарии.

Байрон также приехал не один; его спутником был молодой врач по фамилии Полидори, которому в нашем повествовании принадлежит особая роль.

Собственно говоря, Клер Клермонт была связующим звеном между двумя маленькими обществами. Только она знала одновременно и Шелли, и Байрона, ради которого и предприняла свое путешествие. Поэты познакомились здесь и стали друзьями уже в первые недели общения. Не без некоторых хлопот им удалось поселиться рядом: Байрон занял виллу

Диодати, на живописном холме в двухстах ярдах от Женевского озера; Шелли жил в десяти минутах ходьбы, если идти по тропе через виноградник. Комната на вилле была отведена и доктору Полидори.

2. Доктор Полидори

Джон Вильям Полидори был в то время молодым человеком, семью годами моложе Байрона и тремя Шелли: он родился в 1795 году. Его отец, итальянец родом, переселился в Англию и женился на англичанке. Он был некогда секретарем знаменитого Альфиери и сумел развить в своих детях вкус к литературе, передавшийся и следующему поколению: дочь его, сестра Джона, произвела на свет Данте Габриэля Россетти, поэта

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИСТИФИКАЦИИ

и художника, весьма почитаемого и на континенте. Сам Джон Вильям, избравший медицинское поприще и девятнадцати лет получивший уже диплом в Эдинбурге, был весьма высокого мнения о своих литературных возможностях, хотя Байрону готов был уступить пальму первенства. Он владел, помимо английского, еще и французским и итальянским, и показался Байрону удачной кандидатурой на роль личного врача и секретаря; предложением прославленного поэта он был польщен и принял его благосклонно, как, впрочем, и другое предложение — издателя Меррея, обещавшего ему 500 гиней за подробное описание поездки. Полидори начал вести дневник.

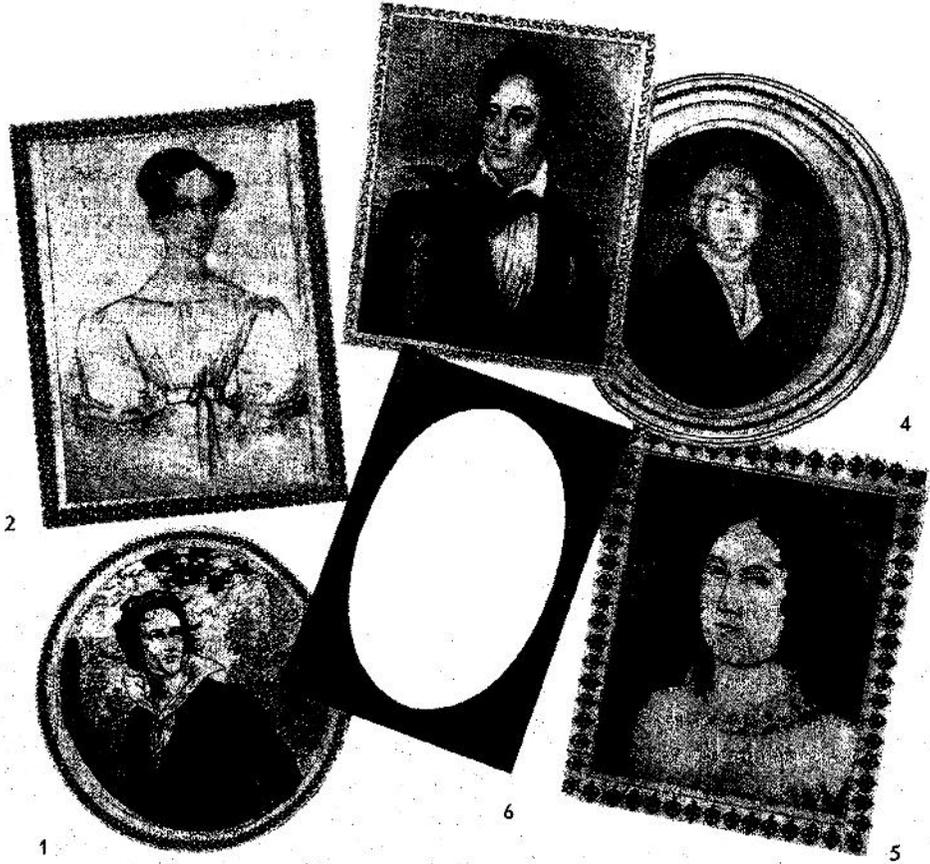
Понадобилось, однако, немного времени, чтобы Байрон пожалел о своем выборе. Полидори был заносчив и болезненно самолюбив. Однажды он заявил Байрону: «Скажите, прошу вас, есть ли что-либо, кроме писания стихов, чего я не смог бы сделать лучше вас?» «Таких вещей три, — ответил тот. — Первое. Я могу попасть из пистолета в замочную скважину вон той двери. Второе. Я могу проплыть по реке вон до того места. И третье — я могу задать вам здоровую трепку». Полидори вышел из комнаты.

Тем не менее они вынуждены были не только сосуществовать, но и делить тяготы и удовольствия совместного путешествия, и Полидори был неизменным участником вечерних бесед и чтений у камина. Вместе с другими он читал «Фантасмагориану, или Рассказы о привидениях, призраках и проч.» — французский перевод немецких новелл о духах, вышедший в 1810 году. Спустя пятнадцать лет Мери Шелли помнила эти жуткие истории о призраке обманутой возлюбленной, явившемся неверному жениху в самый день его свадьбы, и о грешном родоначальнике семьи, обреченном убивать младших отпрысков своего несчастного рода.

И вместе со всеми остальными Полидори принял участие в литературной игре, затеянной, чтобы скоротать ненастные вечера.

3. Состязание

15 или 16 июня, когда путешественники в очередной раз собрались у камина на вилле Диодати, Байрон предложил, чтобы каждый рассказал свою историю о привидениях. Он не подозревал, конечно, что открывает один из самых знаменитых конкурсов в новейшей литературе Европы. Да и начало его, казалось, не предвещало серьезных результатов.



1. Перси Биши Шелли. Художник В. Ростовцев. 2. Мери Шелли в возрасте 19 лет. Акварель работы неизвестного художника. 3. Джордж Гордон Байрон. Портрет художника Сендерса. 1807. 4. Мэтью Грегори Льюис. Гравюра В. Ридли с портрета С. Драммонга. 1796. 5. Клер Клермонт. Портрет работы Амели Керран.

Шелли принялся рассказывать что-то из своей ранней юности, но вскоре потерял интерес. Мери вспоминала, что сам Байрон тоже вскоре «наскучил прозой», — и «оба прославленных поэта... отказались от замысла, столь явно им чуждого». Неизвестно, что рассказывала Клер Клермонт, но она также остановилась на самом начале. Только «бедняга Полидори», по словам Мери, «придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп — в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину». «Он не знал, что делать с нею дальше, и вынужден был отправить ее в склеп Капулетти — единственное подходящее для нее место»¹.

Что же касается самой Мери Годвин, то она не собиралась складывать оружие. Самолюбие ее было задето, воображение растревожено. Дочь Вильяма Годвина, автора страшного «готического романа» «Сент-Леон» с философским содержанием и Мери Уоллстонкрафт, вставшей против общественной и интеллектуальной деспотии мужчин, она не хотела уступить ни Байрону, ни Шелли. В уме ее рисовалась повесть, превосходящая

¹ Шелли Мери. Франкенштейн, или Современный Прометей. М., 1965. С. 29—30.

все, донныне ею слышанное, от которой кровь стынет в жилах и стучит сердце. Но повесть не складывалась. Мери была близка к отчаянию.

Однажды вечером Байрон и Шелли разговаривали о секретах зарождения жизни и попытались естествоиспытателей открыть его лабораторным путем. Разговор затянулся за полночь. Мери слушала внимательно, не прерывая беседующих; ночью она впала в полусонное забытие — и вдруг с необычайной ясностью увидела «бледного адепта тайных наук» и созданное им отвратительное человекоподобное существо, в котором теплятся слабые проблески жизни. Оно медленно открывает желтые, водянистые, но осмысленные глаза и раздвигает занавеси у изголовья уснувшего Мастера.

Наутро она объявила, что сочинила роман.

Так родился «Франкенштейн» — одно из выдающихся созданий романтической литературы, блистательное по замыслу и выполнению, не утерявшее своего жуткого обаяния и по сей день.

Но это было лишь одним, хотя и, может быть, самым значительным следствием вечеров на вилле Диодати.

4. Записки доктора

Доктор Полидори, как оказалось, тоже не оставлял мысли о повести.

Подобно Мери Годвин, он сохранил для потомства свидетельство о вечерах у камина, но рассказывал о них иначе.

17 июня он записал в дневнике: «Все начали свои истории, кроме меня».

На следующий день беседы возобновились, как раз в полночь, в час явления духов, и тогда с Шелли случился нервный припадок. Он услышал в пересказе Байрона начало «Кристабели», гениальной поэмы Колриджа, с ее завораживающей, пугающей атмосферой. Следы этого впечатления остались в дневнике Полидори и в «Отрывке письма из Женевы», который доктор напечатал через три года как сочинение третьего лица и где сам он фигурирует как знакомец автора.

«Хотя мне очень не везло в этом городе, мне повсюду удавалось наводить справки. В трех или четырех милях от Женевы есть общество, центром которого является русская дама, графиня Брюс (Breuss), знающая толк в приятностях света и собирающая их в своем доме. Я обнаружил, что джентльмен, который путешествует с Байроном в качестве врача, ищет общества главным образом здесь. Почти каждый день он переплывает озеро в одной из плоскодонных лодок и возвращается, проведя вечер со своими друзьями, около одиннадцати или двенадцати часов ночи, даже когда буря бушует в окрестных горах. Так как в результате долгого знакомства он сделался короток с несколькими соседними семьями, я почерпнул из их рассказов известия о некоторых блестящих чертах характера лорда, которые передам вам при случае.

Среди других подробностей в них был рассказ об истории о призраках, принадлежащей Байрону. Дело в том, что однажды вечером лорд Б. и мистер П. Б. Шелли, две дамы и джентльмен, о котором идет речь, прочитав немецкое сочинение под названием «Фантасмагорияна», стали рассказывать истории о призраках; когда лорд пересказал начало «Кристабели», тогда неизданной, это произвело столь сильное впечатление на мистера Шелли, что он внезапно вскочил и выбежал из комнаты. Врач и лорд Байрон последовали за ним и нашли его прислонившимся к каминной доске; по лицу его стекали капли холодного пота. Ему дали освежающего и, расспросив о причинах его тревоги, узнали, что его пылкое воображение нарисовало ему глаза на груди одной из дам (в окрестностях его жилища рассказывали о такой женщине), и он вынужден был покинуть комнату, чтобы рассеять впечатление. Потом, в течение беседы, было предложено, чтобы каждый из компании написал рассказ, основанный на каком-нибудь сверхъестественном происшествии, что и было поддержано лордом Б., врачом и одной из упомянутых дам. Из величайшей любезности мне раздобыли пересказ каждой из этих историй, и я посылаю их вам в уверенности, что вам, так же, как и мне, будет весьма интересно пробежать эти *пробы пера* столь гениального человека, равно как и тех, кто находился под его непосредственным влиянием»².

Итак, он все же удержал в памяти байроновский рассказ, как, впрочем, и другие, услышанные в этот вечер.

² The Vampyre; a Tale, by the right honourable Lord Byron. 2-nd edition. Paris, Galignani, 1819. P. X—XIII.

5. «Монах-Льюис»

Через три дня после ночных бдений немного прояснилось, и Байрон с Шелли осуществили наконец задуманную прогулку через озеро. Они выехали на лодке 22 июня; Полидори, повредивший ногу, остался дома. В дороге их застигла буря; они были на волосок от гибели. Байрон, прекрасный пловец, уже готовился спасти своего нового друга, вовсе не умеющего плавать; тот с величайшим хладнокровием просил его подумать в первую очередь о себе. На следующее утро было тихо; они подплыли к замку Шильон, где томился почти три столетия назад Франсуа Боннивар, мученик за свободу и веру; видели подземелье, где на глазах Боннивара умирал его брат. Они посетили Кларан и Вева, где была еще жива память о Жан-Жаке Руссо, и у Байрона вырвалось восклицание: «Слава Богу, здесь нет Полидори!»

За два дня — 27 и 28 июня — Байрон написал «Шильонского узника».

Взаимная приязнь укреплялась. Шелли не скрывал своего восхищения мощным талантом Байрона. «Вы уже обнаружили дарования необыкновенные. (...) Мне неизвестно, каких высот мысли Вам суждено достигнуть. Знаю только, что талант Ваш огромен, и он должен развернуться в полной мере»³.

А через шесть лет Шелли совершит свою последнюю морскую прогулку — и рядом не будет Байрона, чтобы его спасти. Бездыханное тело тридцатилетнего поэта, поглощенного разбушевавшейся стихией, будет выброшено волнами на побережье близ Ливорно. Его сожгут прямо на берегу; сердце же его, не тронутое огнем, будет похоронено на протестантском кладбище в Риме. И Байрон будет присутствовать на этой огненной тризне. А через два года он сам погибнет в Миссолонгах от желтой лихорадки.

Сейчас же они переживают почти счастливое время; но у Байрона веселость сменяется депрессией. Общение с Клер тяготит его; вести, приходящие с родины, не приносят радости; впереди неизвестность, а может быть, безнадежность.

Творческая мысль его продолжает, однако, работать, поднимаясь к философическим проблемам человеческого бытия. Он замышляет своего «Манфреда» — Фауста нового времени, и жаждет познакомиться с шедевром своего великого немецкого современника.

Здесь на сцену является новое лицо.

16 августа Диодати посетил Мэтью Грегори Льюис.

Этот Льюис — «Монах-Льюис», как его называли в отличие от всех других Льюисов, был человеком весьма замечательным. Двадцать лет назад, совсем юношей, он написал один из самых страшных и скандальных романов в тогдашней английской словесности — «Монаха», принесшего ему славу. Ныне, почти расставшись с литературой, он ехал через Швейцарию в Италию с Ямайки, где занимался устройством судьбы вестиндских рабов. Немецкую литературу и язык он знал превосходно и, к восхищению Байрона, перевел ему «Фауста» с листа.

Байрон говорил Т. Медвину, что свою историю о вампирах он рассказывал в присутствии Льюиса. Может быть, в его памяти, как это нередко бывает, соединились два похожих вечера. В августе 1816 года опять говорили о привидениях, и участниками бесед были Байрон, Льюис, Шелли, Мери Годвин и, вероятно, Полидори. «Могильщик Аполлона», как называл Байрон автора «Монаха», вполне оправдал свою репутацию, рассказав несколько жутких инфернальных сюжетов, которые потом Мери внесла в свой совместный с Шелли дневник. В одном из них к некоей немецкой даме является призрак убитого мужа в военных доспехах, с глубокой раной. Она перестала его бояться и даже почувствовала к нему прежнюю любовь — но умерла от испуга, когда он явился к ней в разгар ее нового увлечения. Быть может, об этом рассказе вспоминал Байрон в разговорах с Медвином: он напоминал поэту балладу «Алонзо и Имогена» из романа «Монах»: в ней скелетообразный призрак уносил от свадебного стола изменившую ему возлюбленную⁴.

Сам Льюис словно повторил историю своих героев и предвосхитил судьбу Байрона и Шелли: он скончался, как Шелли, в море; как Байрон — от желтой лихорадки. Смерть настигла его на пути в Ямайку; труп его был опущен за борт. Рассказывают, что грузы сорвались, и всплывший гроб с телом автора «Монаха» следовал за кораблем до самой Ямайки, покачиваясь на волнах.

³ Письмо Шелли Байрону от 29 сентября 1816 г. // Шелли. Письма. Статьи. Фрагменты. М., 1972. С. 110.

⁴ Там же. С. 327; Medwin Th. Conversations of Lord Byron, noted during a residence with his Lordship at Pisa in the year 1821 and 1822. London, 1824. P. 120.

6. Отъезд

29 августа 1816 года Шелли, Мери Годвин и Клер Клермонт покинули Женеву.

Байрон и Полидори еще некоторое время оставались в городе. 12 сентября они ездили вместе к г-же де Сталь; прославленная писательница пригласила прославленного поэта в свое имение, где собралось большое общество: светские дамы и женевские знаменитости, как Карл Фридрих Бонштеттен, знавший чуть не всех примечательных людей в Европе за последние полстолетия, начиная с Вольтера. Полидори пригласил его в Диодати и жаловался потом, что Байрон уехал в самый день званого обеда. Байрон досадливо оправдывался перед Мерреем: доктор сам пригласил гостей, его и оставили занимать их. «Я появился в свете *только затем*, чтобы представить *его* (как я ему сказал), чтобы он мог, если захочет, вернуться в среду порядочных людей; при его молодости и положении это было бы самым лучшим; что касается меня, то я покончил со светским обществом...»

В Женеве они расстались. Ссоры не было, но Байрон явно тяготился тем, как складывались взаимоотношения. Он сделал, однако, все, чтобы его врач и секретарь не был ущемлен ни морально, ни материально.

Полидори уехал в Милан и здесь опять попал в историю, поссорившись с каким-то австрийцем; кончилось тем, что он был выслан из города. Подоспевший Байрон не без труда избавил его от ареста. В январе 1817 года он узнал, что Полидори собирается вернуться в Англию и оттуда ехать в Бразилию; он написал Меррею и просил для него рекомендательных писем. «Он умен и образован, по всем отзывам, хорошо знает свою профессию, порядочен в делах и ни в малой мере не недоброжелателен» (письмо от 24 января 1817 года). Впрочем, Байрон никогда не забывал и о дурном характере, тщеславии и заносчивости своего товарища по путешествию и не упускал случая подтрунить над ним. «В настоящий момент у доктора Полидори больше нет пациентов, так как его пациентов больше нет. У него в последнее время было трое — сейчас все они умерли», — пишет он Т. Муру 11 апреля 1817 года. Через три дня Полидори уехал из Венеции в Англию. У него были литературные планы, и Байрон просил Меррея помочь ему и на этом пути.

В августе 1817 года Меррей с комическим ужасом сообщил Байрону, что Полидори прислал ему свою трагедию.

7. Рождение «Вампира»

В апреле 1819 года до Байрона дошло известие, что под его именем напечатана повесть «Вампир», и он был раздосадован. «Черт бы побрал «Вампира»! Что мне известно о вампирах?» Он решил, что это «какое-нибудь мошенничество книготорговцев» и просил своего друга Дугласа Киннэрда разоблачить подделку «в торжественном печатном заявлении». Ему еще не было известно, какую роль во всем этом играет Полидори.

«Вампир» был напечатан в апрельской книжке «Нового Ежемесячного журнала» за 1819 год и почти сразу же вышел отдельно в Лондоне и в Париже, в издательстве Галиньяни. Далее история начала развиваться стремительно.

МЕРРЕЙ — БАЙРОНУ, 27 апреля 1819 г.

Среди новых книг, которые я послал Вам... был экземпляр сочинения под названием «Вампир», которое мистер Колберн имел безрассудство издать под Вашим именем. Оно было напечатано в первый раз в «Новом Ежемесячном журнале», с которого я снял прилагаемую копию. Редактор этого журнала поссорился с издателем и сегодня утром зашел, чтобы дать объяснения по поводу этого недостойного дела. Он говорит, что получил его от доктора Полидори за небольшую сумму, причем Полидори утверждал, будто весь план принадлежит Вам, а им был только осуществлен. Он, редактор, снабдил сочинение кратким разъяснением на этот счет; но к его удивлению, Колберн изъял листок за день до публикации, несмотря на его указания и в прямом противоречии с ними; он боялся, что это разъяснение помешает продаже отдельного издания, которое потом было осуществлено. Он сообщил мне, что Полидори, увидев, что успех превзошел его ожидания и что он продал рукопись слишком дешево, пришел к редактору и заявил, что откажется от нее. Он написал к Перри, что «Вампир» не был написан Вами, а на следующий день сказал, чтобы тот не давал хода письму.

Сейчас он готовит нечто вроде Босвелловского дневника о Вашей жизни. Передо мной лежит длинное письмо от упомянутого редактора, которое я отправлю мистеру Хобхаузу; он, вероятно, увидит упомянутого доктора, а потом перешлет письмо Вам.

БАЙРОН — издателю «Вестника Галимьяни»,
27 апреля 1819 г., Венеция

Сэр,

в нескольких номерах Вашего журнала я видел упоминания о произведении, озаглавленном «Вампир», с добавлением моего имени как автора. Я не являюсь автором и до сего времени никогда не слышал о произведении, о котором идет речь. В одном из недавних номеров я увидел уже объявление о «Вампире» с приложением рассказа о моем «пребывании на острове Митилена» — острове, мимо которого я случайно проплывал во время моего путешествия через Левант несколько лет назад — и против пребывания на котором я бы не возражал, но на котором я никогда не пребывал. Ни одно из этих сочинений мне не принадлежит, и я полагаю, что не будет ни невежливо, ни несправедливо, если я попрошу Вас сделать мне любезность и опровергнуть объявление, о котором я говорю. Если книга умна, было бы недостойно отнимать у подлинного автора, кто бы он ни был, его заслуги; если же нелепа, то я хотел бы отвечать только за собственную глупость, и ничью более. Извините беспокойство, которое я причиняю Вам; ущерб для репутации невелик, и пока дело идет о разговорах и догадках, я бы принял его, как уже принимал многие другие, в молчании. Но формальное, публичное объявление о книге, которую я никогда не писал, и о пребывании в месте, где я никогда не пребывал, — это немного уже слишком, в особенности если я не имею представления ни о содержании первой, ни о событиях во втором. Помимо всего прочего я испытываю личное отвращение к «вампирам», и весьма отдаленное знакомство с ними побуждает меня ни в коем случае не обнаруживать их секретов.

МЕРРЕЙ — БАЙРОНУ, 29 апреля 1819 г.

Мистер Хобхауз сказал мне, что он обо всем написал Вам и что он прибрал к рукам Полидори, пристойно, но и решительно.

ПОЛИДОРИ — издателю «Нового Ежемесячного журнала»
(напечатано в «Курьере» от 5 мая 1819 г.).

Сэр,

как лицо, на которое ссылались в письме из Женевы, предпосланном повести «Вампир» в последнем номере Вашего журнала, я прошу разрешения заявить, что Ваш корреспондент ошибся, приписав эту повесть в ее нынешнем виде Лорду Байрону. Дело в том, что, хотя основа повести в самом деле принадлежит Лорду Байрону, развитие ее — мое; оно осуществлено по просьбе дамы, которая решительно отрицала самую возможность создать что-либо из рассказа, который Лорд Байрон намеревался превратить в историю о призраках.

Остаюсь

и пр.

Дж. В. Полидори

БАЙРОН — МЕРРЕЮ, 15 мая 1819 г., Венеция

Я получил Ваш отрывок, а также «Вампира». Нет надобности говорить, что он не мой. <...>

То, что рассказывают о нервном припадке Шелли — правда. Не знаю, что нашло на него, ибо он не робкого десятка. <...> Шелли поддался игре воображения, описанной Полидори, правда, не вполне точно.

Верно, что мы условились каждый писать повесть о привидениях, но только дамы — вовсе не родные сестры. Одна из них — дочь Годвина от Мери Уоллстонкрафт, а другая — дочь нынче и шней миссис Годвин от первого брака. <...> Мери Годвин (ныне миссис Шелли) написала «Франкенштейна», который Вы рецензировали, приписывая его Шелли. Считаю, что это удивительное произведение для девочки девятнадцати лет — нет, тогда ей не бы-

ло еще и девятнадцати. Пошляю Вам начало своей повести; можете судить, сколь она похожа на то, что издал м-р Колберн. Если пожелаете, можете напечатать ее в «Эдинбургском журнале» (Вильсона и Блэквуда), указав по ч е м у и снабдив пояснением, какое сочтете нужным. Я не продолжил ее, как видно по дате.

Байрон посылал Меррею несколько страниц своей версии «Вампира». Она была озаглавлена «Фрагмент» и имела дату: «17 июня 1816 г.» В том же, 1819 году «Фрагмент» был напечатан как приложение к поэме «Мазепа».

ДЖ. В. ПОЛИДОРИ. Из предисловия к роману
«Эрнестус Берчголд, или Новый Эдип» (1819)

История, представленная здесь публике, есть та самая, которую я начал в Колиньи, когда был задуман «Франкенштейн» и когда благородный автор, решив спуститься со своих недостижимых высот, посвятил несколько часов страшной истории и написал Фрагмент, напечатанный в конце «Мазепы».

(Повесть, которая недавно появилась и с которой было ошибочно связано имя его лордства, имела своей основой тот сюжет, который должен был послужить продолжением этого фрагмента. Два друга должны были предпринять путешествие из Англии в Грецию; там один из них должен был умереть, но перед смертью взять со своего друга клятву держать в секрете все, что касается его болезни. Спустя немного времени оставшийся в живых путешественник, вернувшись на родину, должен был быть поражен, увидя, что его бывший спутник появляется в обществе, и охвачен ужасом, обнаружив, что тот влюбился в его сестру. На этом основании я построил «Вампира» по просьбе дамы, которая утверждала, что на нем нельзя основать сюжет повести, в которой была бы хотя малейшая видимость правдоподобия. Я написал эту повесть за три утра и оставил у нее. Отсюда она, по-видимому, попала к некоему лицу, которое переслало ее редактору таким образом, что из его слов осталось неясным, принадлежит ли эта повесть его лордству или нет; так что я был в затруднении в отстаивании своих прав на нее. Все эти обстоятельства были изложены в письме, посланном в «Утреннюю хронику» через три дня после публикации повести; но поскольку издатели заявили мне, что их репутация пострадала так же, как моя, что сейчас они убеждены, что повесть принадлежит мне, что они сами хотели бы принести повинную публике, я позволил им взять обратно письмо, которое уже несколько дней лежало в редакции газеты.)

В 1821 году Байрон получил сообщение из Англии, что Полидори отравился.

Он протянул письмо вошедшему Томасу Медвину:

«Я был убежден, что прошлой ночью надо мной нависла какая-то ужасная неприятность: я ожидал услышать о смерти кого-то из знакомых. И вот подтвердилось! Бедный Полидори умер!»

Байрон был уверен, что «причиной этого отчаянного поступка было разочарование» и что Полидори «возлагал слишком большие надежды на литературную славу из-за успеха его „Вампира“»⁵.

8. Триумф

За несколько лет словно злой рок пронесся над головами всех участников вечерних бесед на Диодати. Первым умер Льюис — в 1817-м году; в 1821-м — Полидори, в 1822-м — Шелли, в 1824-м — Байрон. Мери Шелли так и не оправилась после кончины любимого мужа. И самые вечера на Женевском озере стали историей.

Все же созданное тогда обрело свою, самостоятельную жизнь.

«Вампир» Байрона — Полидори начинал свое триумфальное шествие по Европе. Им увлекались Гофман и Гете; его перевели на французский язык. На этот перевод —

⁵ Medwin Th. Op. cit. P. 119.

«Вампир, повесть лорда Байрона, переведенная с английского Г. Фабером» — откликнулся блестяще талантливый Шарль Нодье, восходящее светило романтической школы. Нодье не предполагал еще, что рецензирует псевдобайроновскую повесть; он рассказывал о народных поверьях, о лорде Байроне, чье сочинение не может оставить равнодушным ценителей талантов.

«...„Вампир“ своей ужасной любовью будет возмущать сны всех женщин...»⁶

Успех был столь велик, что переводчик и пропагандист Байрона во Франции Амедей Пишо был вынужден включить «Вампира» во французское издание подлинных байроновских сочинений. Пишо знал уже, что повесть не принадлежит Байрону, но это апокрифическое сочинение, замечал он, способствовало славе поэта во Франции не в меньшей мере, чем лучшие его поэмы. Его читали в парижских салонах, переделки его появлялись в печати и на сцене. О «вампиризме» писались ученые сочинения; Шарль Нодье, захваченный общим поветрием, издал «Инферналиану» (1822), где было несколько историй о вампирах.

Рождающаяся «неистовая словесность» отдавала должное своим предшественникам.

Проза Полидори, конечно, не была байроновской прозой. Повествование Байрона энергично и стремительно; самый рассказ от первого лица увеличивает психологическое напряжение. Атмосфера таинственного и страшного сгущается во «Фрагменте» постепенно; воображение читателя скользит по тонкой грани между реальным и потусторонним. Это тот тип ведения рассказа, который называют суггестивным, подсказывающим, намекающим. Полидори попытался сохранить его — но успел лишь отчасти: он огрубил сюжет, выпрямил и упростил психологические характеристики; рассказ его, наполненный устрашающими приключениями, выглядит более затянутым и вялым, чем, казалось бы, почти лишенные внешних событий страницы байроновского «Фрагмента». Его «лорд Ротвен» — носитель inferнального зла, всегда равный самому себе; его «Обрей» — фигура без лица, с чисто пассивной сюжетной ролью. Но в зеркале его повести, пусть не вполне верно, с искаженными контурами, отражается мир подлинной байроновской поэзии — с демоническими героями-имморалистами, с философией «высокого зла», с великой любовью и великим страданием.

«Вампир» читался сквозь призму байронической поэзии и даже биографии самого Байрона. «Есть минуты, когда я понимаю Вампира!» — скажет лермонтовский Печорин в конце 1830-х годов.

Это был голос русского ценителя Байрона. «Вампир» Полидори, или Байрона и Полидори, двигался в Россию.

9. Путь в Россию

«Вампир» не мог миновать России — и, может быть, не только из-за своей всевропейской популярности.

О нем должны были что-то знать русские, жившие в Женеве. Вспомним «графиню Брюс» — Екатерину Яковлевну Мусину-Пушкину-Брюс, в доме которой постоянно бывал Полидори⁷.

О нем мог бы знать Жуковский, приехавший в Женеву в 1821 году. Он был у Бонштеттена и слушал его рассказы о Байроне — те самые эпизоды, которые описал Полидори и потом объяснял Байрон в письме к Мерреку. Но имени Полидори Жуковский не назвал в своих дневниковых записях; может быть, Бонштеттен и не помнил его.

Жуковский был буквально у колыбели, откуда вышел новорожденный «Вампир», — но занимал его в это время только «Шильонский узник». Он проехал по путям Байрона и Шелли и начал свой перевод, который потом вошел в сокровищницу русской поэзии.

Но так или иначе, уже в начале 1820-х годов «Вампир» становится известен в России. Им зачитывается пушкинская Татьяна. «Британской музы небылицы Тревожат сон отроковицы...» Это почти цитата из рецензии Нодье, хорошо известной Пушкину, и пишется это в феврале — июне 1824 года. Уже в то время для Пушкина «Вампир» — чтение уездных барышень.

Тем временем в Россию приезжает Клер Клермонт.

⁶ Nodier Ch. *Mélanges de littérature et de critique*. Т. 1. Paris, 1820. P. 416.

⁷ Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII — первая половина XIX века) // Лит. наследство. Т. 91. М., 1981. С. 541.

Мы не будем рассказывать здесь о русских страницах биографии этой женщины — это сделано почти исчерпывающе в превосходной работе академика М. П. Алексеева. Скажем только, что она пробыла в Москве и под Москвой с 1823 по 1828 год, служа гувернанткой в нескольких помещичьих семьях; что знала почти всю английскую колонию и многих русских литераторов: Д. В. Веневитинова, С. А. Соболевского, княгиню З. А. Волконскую, Н. М. Рожалина. Она могла бы рассказать многое, в том числе и о памятных ей вечерах на вилле Диодати, — но тщательно скрывала свое прошлое, хотя слухи о ее родственных и дружеских связях уже начинали просачиваться в московское общество.

Вскоре после ее отъезда, 15 октября 1828 года, цензор В. Измайлов подписал в Москве разрешение на издание рукописи «Вампир. Повесть, рассказанная лордом Байроном», переведенной с английского молодым литератором Петром Киреевским.

10. Русский переводчик

Петр Васильевич Киреевский вошел в русскую культуру как составитель одного из лучших собраний русских народных песен. Но в 1828 году ему всего двадцать лет, и он только начинает свой литературный путь. Принадлежит он к семейству весьма замечательному: матушка его, Авдотья Петровна Киреевская-Елагина, — родственница и ближайший друг Жуковского; брат Иван — будущий выдающийся деятель русского славянофильства. Дом Елагиных был одним из культурных центров Москвы, и с ним так или иначе связано почти все молодое поколение литераторов, основавших в 1827 году журнал «Московский вестник». Здесь царит острый интерес к философии, эстетике, более всего немецкой. фольклору, истории, романтической поэзии. В «Московском вестнике» преимущественно печатается возвращенный из ссылки Пушкин и сотрудничают И. Киреевский, Шевырев, Погодин, Веневитинов, Соболевский — те самые люди, с которыми общалась и Клер Клермонт. И юный Петр Киреевский печатает здесь свои первые труды.

Изданный им перевод «Вампира» — третья известная нам его печатная работа.

По своим связям с Жуковским, Веневитиновым, Соболевским Петр Киреевский мог бы знать историю этой повести, если бы... если бы они сами что-то о ней знали. Но уверенности в этом никакой нет, и скорее всего, Киреевский обратился к «Вампиру» по причинам не биографическим, а литературным. После трагической смерти Байрона, всколыхнувшей всю русскую литературу, популярность его достигла вершины; собрания сочинений, выходявшие на Западе чуть не ежегодно, почти сразу же попадали к русскому читателю. Киреевский знал по-английски и не нуждался в переводе; уже в пятитомном издании Байрона, вышедшем в Париже в 1821 году, он мог найти и «Вампира» Полидори, с пояснением, что эта повесть «неправильно приписана лорду Байрону» и принадлежит «Полидори, молодому врачу, прожившему некоторое время в Женеве вместе с английским поэтом». В том же издании к «Вампиру» были приложены «Отрывок письма из Женевы» и «Предисловие» Полидори, а также подлинный байроновский «Фрагмент» («Отрывок»).

Всего этого было достаточно, чтобы составить книжку.

Но всего этого было недостаточно, чтобы объяснить, почему из всех сочинений Байрона Петр Киреевский избрал для перевода заведомо не байроновскую повесть, о чем сам же и рассказал в предисловии.

Дело же было в том, что тут замешалось еще одно обстоятельство, весьма любопытное.

11. Двойная мистификация

Обстоятельство заключалось в том, что «вампирическая тема», и без того популярная в европейской романтической словесности, в конце 1820-х годов получила новый и неожиданный импульс.

В июле 1827 года в Париже вышла книга «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Издателем ее, а как потом оказалось, и автором, был молодой литератор, ставший впоследствии одним из лучших прозаиков Франции, — Проспер Мери́ме. Он мистифицировал своих читателей даже с большим успехом, чем Полидори: он придумал несуществующего народного певца Иакинфа

Маглановича, описал якобы виденные обычаи и якобы состоявшиеся встречи и создал песни и баллады по образцам и мотивам южнославянского фольклора, как когда-то поступил Макферсон с песнями Оссиана. Образцы же эти Мериме изучил по всем доступным ему источникам и достиг удивительной иллюзии подлинности: и Мицкевич, и Пушкин поверили в нее (или сделали вид, что поверили) и стали переводить эти тексты как настоящие народные песни. Так возник шестью годами позднее знаменитый пушкинский цикл «Песни западных славян».

В «Гузле» было несколько сюжетов, связанных с вампирами (два из них потом использовал Пушкин), и специальный этюд «О вампиризме», основанный на поверьях, сохранных путешественниками и учеными-этнографами, но более всего на очень известном еще в XVIII веке труде аббата Огюстена Кальме «Трактат о явлении духов, также о вампирах или привидениях в Венгрии, Моравии и проч.» (1746); книга эта, между прочим, была и в библиотеке Пушкина. Из трактата Кальме Мериме взял тот самый рассказ, который привел в своем предисловии к «Вампиру» и Полидори, разыскавший его, по-видимому, первую публикацию в лондонском журнале 1732 года. Трудно сомневаться, что Мериме знал и самую псевдобайроновскую повесть.

С начала 1828 года в русских журналах появляются известия о «Гузле» и переводы из нее, а в 24 номере московского «Атеней» за 1828 год печатается и статья «О вампиризме» — перевод упомянутого этюда (кажется, прошедший мимо внимания исследователей «русского Мериме»).

На романтического, байронического «Вампира» ложились теперь отсветы «Гузлы». Вампир как образ нес на себе черты «местного колорита», с национальной, и притом славянской, окраской. Он воплощал народную демонологию, мифологию, уводя воображение в древнейшие, теряющиеся во времени эпохи народного сознания.

Все это не могло не привлечь будущего фольклориста романтической ориентации.

Киреевский тщательно передал английский текст повести Полидори, равно как и байроновского «Фрагмента», — может быть, даже слишком тщательно. Это был перевод литератора образованного, но неопытного: он более точен, нежели изящен, в нем нет той свободы и легкости, которыми к концу 1820-х годов уже овладевала русская проза. Но в нем есть другие достоинства, которыми не может обладать даже самый совершенный современный перевод. Он был порождением того же литературного и эстетического сознания, которое произвело на свет и подлинный английский текст. Тайные, неуловимые сейчас нити связывали его с повестью Полидори, написанной всего двенадцатью годами ранее; его вызвала к жизни та среда, которая вступила в соприкосновение если не с самим Байроном, то с ближайшим его окружением. И самый архаический язык его нес в себе некий аромат подлинности, ибо это был язык, на котором писали русские современники Байрона.

Киреевский сохранил, конечно, и ученый комментарий Полидори о фольклорной генеалогии «Вампира». Что же касается «Отрывка письма из Женевы», то он воспользовался им как материалом, взявши только то, что прямо объясняло историю повести, и раскрыв имя подлинного автора. Эту маленькую выдержку, лишенную всяких мемуарных и беллетристических подробностей и всякого налета мистификации, он превратил в предисловие к своему переводу.

В этом предисловии была, впрочем, одна фраза, не находящая соответствия в известных нам документах. Киреевский сообщал, что, выслушав байроновского «Вампира» и возвращаясь домой, Полидори «спешил записать его по памяти и потом издал в свет».

Может быть, Киреевский просто домыслил эту сцену, которая напрашивалась сама собой. Полидори рассказывал несколько иначе, да и «возвращаться домой» ему не приходилось — разве в свою комнату на вилле Диодати.

Эта мелочь, как мы увидим далее, отозвалась в русской литературе несколько неожиданным образом.

12. Эпilog

В 1827—1828 годах в Москве и Петербурге собирались по вечерам общества, где первенствовал Пушкин.

Он любил рассказывать страшные истории — иногда по мотивам народных сказок, иногда отдаваясь свободному полету фантазии.

У него был давний замысел сюжета о влюбленном бесе. В черновиках его остались наброски плана: в Москве в 1811 году жила старуха с двумя дочерьми, к которым ходили два приятеля. Один был просто беспутным юношей, другой — носителем дьявольского начала. Это и был «влюбленный бес», намеревавшийся погубить и приятеля, и девушку. «Ночь. Извозчик. Молод(ой) челов(ек) ссорится с ним — Старшая дочь сходит с ума от любви к в(любленному) б(есу)» — так заканчивался план⁸.

Пушкин впервые рассказал все это как устную новеллу тригорским барышням и А. П. Керн; она вспоминала потом пушкинскую «сказку про Черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров».

А тремя годами позднее в альманахе «Северные цветы на 1829 год» появилась повесть «Уединенный домик на Васильевском», подписанная «Тит Космократов». Это был псевдоним Владимира Титова, молодого литератора, принадлежавшего к тому же московскому кружку, что и переводчик «Вампира» Петр Киреевский.

Историю этой повести Титов рассказал полвека спустя.

«В строгом историческом смысле, — писал он, — это вовсе не продукт Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину уединенного домика на Васильевском острове поздно вечером, у Карамзиных, к тайному трепету всех дам... Апокалиптическое число 666, игроки-черти, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанными под *высокие* парики, — честь всех этих вымыслов и главной нити рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате Космократов подслушал, воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником ветхозаветной заповеди «не укради», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демут, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовавшись многими, поныне очень памятными его поправками и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в „Северные цветы“⁹».

Все это происходило, по всей вероятности, осенью 1828 года. «Уединенный домик...» и перевод «Вампира» появляются почти одновременно — один в Петербурге, другой — в Москве, — и явные черты сходства обнаруживаются между двумя новеллами: и в типе главного героя, и в самых взаимоотношениях персонажей — но более всего сходствует между собой происхождение этих текстов. Титов поступил так, как должен был поступить Полидори, и едва ли не сознательно повторил, с нужными исправлениями, тот эпизод, который двенадцать лет назад разыгрался на вилле Диодати близ Женевского озера.

Вспоминая об этом спустя десятилетия, он, конечно же, держал в памяти историю «Вампира», и в его поздние мемуары прокралась фраза, которую ввел Киреевский в свое предисловие: «воротясь домой, спешил записать ее по памяти» и проч.

И здесь мы закончим рассказ о «русском Вампире», ибо дальнейшая судьба его в русской литературе требует особого и более пространный повествования.

⁸ Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 8. С. 429.

⁹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 386; Т. 2. С. 116.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Английский текст «Вампира» Полидори, «Фрагмента» Байрона и «Франкенштейна» М. Шелли переиздан в кн.: Английская романтическая повесть (на английском языке) / Сост. и предисл. Н. Я. Дьяконовой; комм. Л. М. Аришштейна. М., 1980. Письма Байрона к Меррею от 24 января 1817 г., Т. Муру от 11 апреля 1817 г., издателю «Вестника Галиньяни», все письма к Байрону, а также письмо Полидори и его предисловие к роману «Эрнестус Берчтолд» цитируются по изд.: The Works of Lord Byron. Letters and Journals. Ed. by R. E. Prothero. London. 1899—1901 (Vol. 4. P. 46, 102, 286—287), в переводе автора статьи, который благодарит В. Д. Рака за сделанные уточнения. Остальные цитаты из писем Байрона приводятся по изд.: Байрон. Дневники. Письма. М., 1963 (С. 161, 164—166) в переводе З. Е. Александровой.

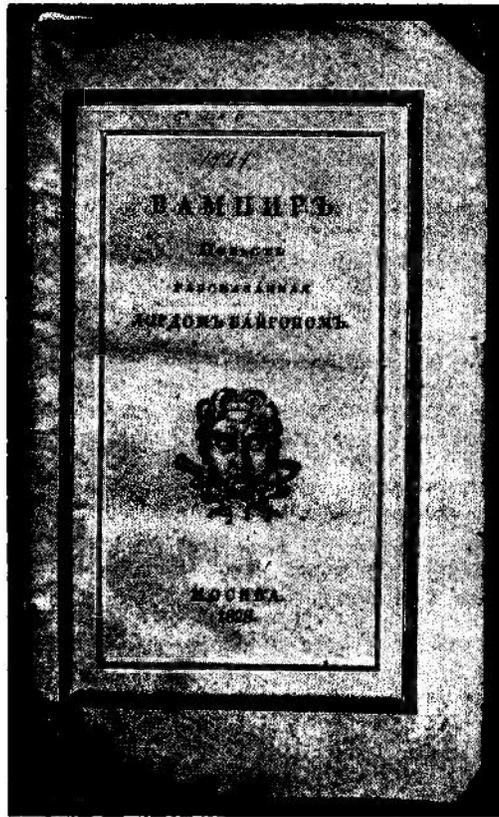
Биографические сведения о Байроне в 1816 г. см. в биографиях Байрона: Marchand Leslie A. Byron. A Biography. Vol. 2. N. Y., 1957. P. 602. и след.; Дьяконова Н. Я. Байрон в годы изгнания. Л., 1974. С. 28 и след.

О распространении темы «вампиризма» в Европе см. монографии: Hock St. Die Vampyr-sagen und ihre Verwertung in der deutschen Litteratur. Berlin, 1900; Yovanovitch V. M. «La Guzla» de Prosper Merimée. Étude d'histoire romantique. Paris, 1911. P. 327 et suiv.

О П. В. Киреевском см.: Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен. Л., 1971.

Подробный комментарий (С. А. Фомичева) к «Уединенному домику на Васильевском» и самый текст повести см.: Русская фантастическая повесть эпохи романтизма (1820—1840). Л., 1990. С. 188—209, 604—609; о связи ее генезиса с «Вампиром» Полидори: Измайлов Н. В. «Тема вампиризма» в литературе первых десятилетий XIX в. // Сравнительное изучение литератур. Л., 1976. С. 512 и др.; Лотман Ю. М. «Задумчивый Вампир» и «Влюбленный бес» // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 101—106.

Другие библиографические указания даны в подстрочных примечаниях.



ВАМПИР

ПОВЕСТЬ, РАССКАЗАННАЯ ЛОРДОМ БАЙРОНОМ

С приложением отрывка
из одного недоконченного сочинения Байрона

Во время своего пребывания в Женеве лорд Байрон посещал иногда дом графини Брюс, одной русской дамы, жившей в трех или четырех милях от города; и в один вечер, когда общество состояло из лорда Байрона, П. Б. Шелли, г. Полидори (несколько времени путешествовавшего с Байроном в качестве доктора) и нескольких дам, — прочтя одно немецкое сочинение под названием «Phantasmagoriana», предложили, чтобы каждый из присутствовавших рассказал повесть, основанную на действии сил сверхъестественных; предложение было принято лордом Байроном, г. Полидори и одною из дам. Когда очередь дошла до Байрона, он рассказал «Вампира». Г. Полидори, возвратясь домой, спешил записать его по памяти и после издал в свет.

Среди рассеяний, обыкновенно сопровождающих лондонскую зиму, между различными партиями законодателей тона, появился один человек, более заметный по необыкновенным качествам, нежели по высокому состоянию. Он равнодушно смотрел на веселие, его окружавшее, и, казалось, не мог его разделять. По-видимому, его внимание привлекал один только звонкий хохот красавиц, который мгновенно умолкал от одного его взгляда, и внезапный страх наполнял тогда сердца, прежде предававшиеся беспечной радости. Никто не мог объяснить причины этого таинственного чувства: некоторые приписывали оное его мертвым серым глазам, которые, устремляясь на лицо особы, перед ним находящейся, казалось, не проходили во глубину, не проникали во внутренность сердца одним быстрым взглядом, — но бросали какой-то свинцовый луч, тяготевший на поверхности, не имея силы проникнуть далее. Странность характера открыла ему вход во все дома; все его желали видеть, и те, которые привыкли к сильным впечатлениям и теперь чувствовали тягость *скуки*, радовались, имея перед собой предмет, способный привлечь их внимание. Несмотря на мертвый цвет его лица, коего черты и очерк были прекрасны, но которое никогда не разогревалось ни румянцем скромности, ни пламенем сильных страстей, многие из самолюбивых красавиц старались привлечь его внимание и выиграть хотя что-нибудь, похожее на привязанность. Леди Мерсер, известная слабым поведением со времени замужства, захотела расставить ему сети и только что не одевалась в арлекинское платье, желая им быть замеченою, — но напрасно: когда она перед ним стояла, тогда взгляд его, по-видимому, и обращен был на ее глаза, но он, казалось, не замечал их; даже и ее неустрашимое бесстыдство осталось без успеха: она отказалась от своего намерения. Несмотря однако же на то, что женщина, известная слабым поведением, не могла иметь влияния даже и на движение глаз его, — он не был равнодушен к прекрасному полу. Но такова была осторожность разговора его с добродетельной женою или невинной девушкой, что немногие знали, говорил ли он когда-нибудь с женщинами. Он славился привлекательностью разговора, и — было ли красноречие сильнее, нежели страх, производимый его странным характером, или видимая его ненависть к пороку казалась трогательною — он так же часто был в обществе женщин, по семейным добродетелям составляющих украшение своего пола, как и между теми, которые бесчестят оный своими пороками.

Около того же времени приехал в Лондон один молодой человек по имени Обрий: он был сирота, потерял родителей еще во младенчестве и с единственной сестрою остался наследником большого богатства. Оставленный на полной свободе опекунами своими, которые считали долгом пецись лишь об имении, а важнейшие заботы о развитии его ума предоставляли наемникам низкого сословия, — он более развивал свое воображение, нежели разум. Таким образом он получил высокие, романические чувства чести и прямодушия, от которых ежедневно погибают столь многие молодые люди. Он верил, что все сочувствует с добродетелью, и думал, что порок брошен Провидением на землю единственно для живописной разительности сцены, как бывает в романах; он думал, что бедность хижин состоит в том только, что люди одеваются в платье столь же теплое, но по неправильным складкам и разноцветным заплатам более привлекательное для глаз живописца. Словом — мечтания поэтов казались ему действительной жизнью. Он был хорош собою, прямодушен, богат, — и потому многие матери его окружали, когда он вступал в веселые общества, и наперерыв старались описывать ему с возможно меньшей истиною своих томных или резвых любимцев; а дочери, движения которых оживлялись при его приближении и коих глаза блистали, когда он начинал говорить, скоро внушили ему ложное понятие о его достоинстве и дарованиях. Привыкши к мечтаниям уединенных часов, он поражен был, когда увидел, что в действительной жизни ничего нет похожего на приятно-разнообразные картины и описания, встречаемые в романах, — кроме восковых и салных свечей, коих трепетный свет происходил не от появления привидений, но от ленивого действия щипцов. Находя некоторое вознаграждение в удовлетворенном тщеславии, он готов уже был отказаться от снов своих, когда необыкновенное существо, нами выше описанное, с ним встретилось.

Он наблюдал за ним. Невозможно было понять характер человека, совершенно в самого себя погруженного, который тем только показывал влияние на себя внешних предметов, что безмолвно соглашался на существование их, избегая всякого с ними соприкосновения. И так как самая сия невозможность позволяла воображению Обрия представлять себе все, что льстило его склонности к необыкновенному, то он скоро преобразовал это странное существо в героя романа и решился разгадывать — более произведение своей фантазии, нежели особу, перед ним находящуюся. Он познакомился с ним, показывал к нему внимание и скоро сделал такие успехи, что лорд Ротвен всегда замечал его присутствие. Он постепенно узнал, что дела лорда Ротвена запутаны, и по приготовлениям в ...ской улице увидел, что он готовится к путешествию. Желая разгадать характер человека, который до сих пор только раздражал его любопытство, он намекнул опекунам своим, что ему время уже путешествовать. Путешествия долго считались необходимыми, для того чтобы молодые люди могли сделать несколько быстрых шагов на поприще порока и тем приблизились к пожилым; им не позволялось казаться как бы спадшими с неба, когда дело шло о соблазнительных интригах, о которых говорили с насмешкой или похвалою, смотря по степени искусства, употребленного в исполнении. Опекуны согласились; Обрий немедленно сообщил свои намерения лорду Ротвену и удивился, когда он предложил ехать вместе. Такой знак уважения, показанный человеком, по-видимому, ничего не имеющим общего с другими, польстил самолюбию Обрия; он с удовольствием принял предложение, и по прошествии немногих дней они уже были на твердой земле.

До сих пор Обрий не имел случая изучать характер лорда Ротвена, и теперь увидел, что, хотя и был свидетелем гораздо большего числа его действий, но что самые действия совершенно противоречили видимым причинам его поведения. Товарищ его не знал пределов своей щедрости; туенядцы, бродяги и нищие получали от него больше, нежели сколько необходимо было для облегчения их непосредственных нужд. Но Обрий должен был заметить, что он раздавал милостыни не тем, которые доведены были до нищеты несчастьями, преследующими и добродетель, — он отсылал их с полускрытой улыбкой насмешки; когда же приходил человек развратный и просил его помощи, не для облегчения бедности, а для удовлетворения своим низким страстям и для того, чтобы еще глубже погрязнуть в бездне порока, тогда он отпускал его с богатым подаванием. Обрий приписывал это дерзости порочных, которая обыкновенно более имеет успеха, нежели робость добродетельного, угнетенного бедностью. Еще одно обстоятельство сделало сильное впечатление на ум Обрия: все те, которым лорд помогал, неизбежно узнавали, что проклятие соединено с его помощью; либо оканчивали жизнь на плахе, либо упадали на низшую степень нищеты и презренности. В Брисселе и других городах, через которые они проезжали, Обрий с удивлением видел, как ревностно его товарищ старался проникнуть во все скопища пороков *большого света*; там он совершенно предавался духу карточных столов, держал заклады и всегда играл счастливо; когда же противником его был какой-нибудь известный картежный вор, тогда он про-

игрывал еще более, нежели выигрывал; но лицо его всегда сохраняло ту же неподвижность, с которой он обыкновенно наблюдал окружающее общество. Оно изменялось только при встрече с пылким, неопытным юношей или отцом многочисленного семейства: тогда казалось, что самые его желания делались счастьем законом, равнодушие исчезало, и глаза лорда Ротвена сверкали, как глаза кошки, играющей с полумертвой мышью. Во всяком городе, им посещенном, оставались юноши (прежде наслаждавшиеся изобилием), исторгнутые из обществ, ими некогда украшенных, и в тюремном заключении проклинающие судьбу, которая свела их с злым духом; многие отцы, как безумные, сидели среди говорящих взоров своих безмолвных, голодных детей, не имея ни копейки из прежних больших богатств, будучи не в состоянии даже облегчить их настоящих страданий. Он никогда не брал со стола денег, а немедленно проигрывал злодеям, уже многих разорившим, последний рубль, исторгнутый из рук невинного. Это можно было считать следствием некоторой степени искусства, которое не в силах было одержать верх над хитростью опытных игроков. Обрий часто хотел говорить с своим другом, просить его, чтобы он отказался от своих милостынь, от удовольствия всем пагубного и для него самого бесполозного, — но откладывал свое намерение; каждый день он надеялся, что друг его подаст ему случай говорить открыто и искренно, и никогда не находил сего случая. Во время путешествия, среди разнообразных и диких зрелищ природы, лорд Ротвен был всегда одинаков. Взоры его говорили еще менее, нежели безмолвные уста; и хотя Обрий был близок к предмету своего любопытства, но все его усилия оставались безуспешны, и он тщетно старался раскрыть тайну, которая начинала уже представляться его разгоряченному воображению чем-то сверхъестественным.

Они скоро прибыли в Рим, и Обрий на несколько времени потерял из виду своего товарища. Лорд Ротвен ежедневно посещал утреннее общество одной итальянской графини, между тем как Обрий уходил для разыскания древностей в другую, почти необитаемую часть города. В это время из Англии прибыли письма к Обрию, и он с нетерпением их распечатал. Первое было от его сестры и дышало одной любовью; другие были от опекунов; последние удивили его. Еще прежде воображение ему говорило, что какой-то злой дух живет в его товарище, но эти письма подтвердили его предчувствие. Опекуны убеждали его немедленно оставить своего друга, говорили, что он погряз до низкой степени порока и что непреодолимая сила обольщения делает его тем вреднее для общества. Открылось, что его презрение к леди Мерсер происходило не от ненависти к ее характеру, но от того, что он хотел возвысить наслаждение, низвергнув жертву, соучастницу преступления его, с высоты чистой добродетели в бездонную пропасть позора и презренности. Наконец, уведомили Обрия, что все те женщины, которых общества лорд Ротвен искал за их добродетель, — после его отъезда сбросили с себя личину и не постыдились открыть перед взорами всех свои пороки в полном их безобразии.

Обрий решился оставить человека, в характере которого не видал еще ни одной светлой точки, на которой бы взоры могли отдохнуть. Он решился найти какой-нибудь благодетельный предлог для разрыва и наблюдать за ним пристальнее, не пропуская ни малейшего обстоятельства без замечания. Он познакомился с обществом, которое посещал лорд Ротвен, и скоро увидел, что он хочет употребить во зло неопытность дочери той дамы, которой дом он чаще других посещал. В Италии девушка редко бывает в обществе, и потому лорд Ротвен вынужден был исполнять свои планы втайне; но зоркий глаз Обрия везде за ним следовал и скоро открыл, что назначено свидание, которое по всем вероятностям должно было кончиться погибелью невинной, хотя ветреной девушки. Не теряя времени он взшел в комнату лорда Ротвена, прямо спросил о его намерениях и сказал, что знает о свидании, назначенном в ту же самую ночь. Лорд Ротвен отвечал, что намерения его таковы, какие, по его мнению, всякий бы имел при подобном случае, и засмеялся, когда Обрий настоятельно спрашивал: хочет ли он на ней жениться? — Обрий ушел; немедленно написал записку к лорду Ротвену, в которой говорил, что уже не хочет быть его товарищем в предположенном путешествии, велел своему слуге искать другую квартиру, сам пошел к матери той девушки, которую хотел защитить, и рассказал все, что знал, не только о ее дочери, но и о характере лорда. Свидание предупредили. Лорд Ротвен на следующий день прислал только своего человека, для того, чтобы изъявить полное согласие на разлуку; но ни малейшим намеком не дал заметить, что подозревает Обрия в разрушении своих замыслов.

Оставя Рим, Обрий захотел видеть Грецию; и переехав полуостров, скоро прибыл в Афины. Там он остановился в доме одного грека и скоро занялся, читая забытую повесть о древней славе, — на развалинах, которые, как бы стыдяся вещать рабам о деяниях граждан свободных, сокрылись под землю или разноцветным мохом. В одном доме с ним было существо прелестное; живописец мог бы избрать ее моделью, изображая обетованную надежду

правоверных в Магометовом раю; но чувство, сиявшее в глазах ее, отличало ее от творений, лишенных души. Когда она резвилась в долине, или легкими шагами пробегала по отлогой горе, тогда газель* казалась бедным отблеском ее прелестей; кто мог бы променять ее глаза, глаза одушевленной природы, на сонливый и сладострастный взор животного, пленительный только для сластолюбца? Легкие шаги Ианфы часто сопровождали Обрия в разысканиях древностей, и часто резвая красавица, гоняясь за мотыльком, невольно показывала всю прелесть своего стана, который, казалось, летел по ветру; жадные взоры Обрия следовали за ней, и, теряясь в созерцании ее очаровательной красоты, он забывал полуизгладившиеся надписи, едва прочтенные на древних камнях. Часто, когда кудри ее небрежно упали на плечи, при солнечных лучах являлись такие нежные, блестящие и быстроисчезающие оттенки, которые совершенно извиняли забывчивость антиквара, когда из мыслей его ускользал предмет, весьма важный для объяснения темного места в Павзании. Но для чего описывать прелести? все их чувствуют, и никто оценить не может. То была невинность и красота, не омраченные толпами гостиных и удушливыми балами. Когда он рисовал памятники древности, о которых хотел сохранить воспоминание для будущей своей жизни, — она любила стоять подле него и следовать за магическим действием кисти, изображающей виды ее родины; описывала ему хороводные пляски на открытой равнине, изображала со всеми яркими красками молодого воспоминания свадебные обряды, которые видела в детстве; потом, переходя к предметам, очевидно, сделавшим сильнейшее впечатление на ум ее, рассказывала все сверхъестественные сказки, которые слыхала от своей нянюшки. Она совершенно верила тому, что рассказывала, и рассказывала с такой важностью, что даже и Обрий слушал ее с любопытством. Часто, когда она повторяла предание о живущем вампире — который проводил целые годы среди своих друзей, среди людей для него драгоценнейших, и каждый год был вынужден питаться жизнью прекрасной женщины, для того, чтобы продлить свое существование на следующие месяцы, — кровь Обрия холодела, хотя он делал усилия, чтоб смеяться над такими пустыми и ужасными мечтаниями; но Ианфа называла имена стариков, которые открыли наконец между собою живущего вампира, когда уже многие из их детей и ближних родственников найдены были с знаками, показывающими, что они утолили кровавую жажду злого духа; и когда ей казалось, что Обрий не верит, она просила, чтобы он поверил ей, потому что было замечено, что те, которые осмеливались сомневаться в их существовании, всегда видели доказательство на опыте и с растерзанным сердцем должны были сознаться в истине. Она подробно повторяла ему предание о наружном виде сих чудовищ, и его ужас увеличился, когда он услышал довольно верное описание лорда Ротвена; он продолжал уверять ее, что не может быть истины в ее страшных сказках, — но в то же время удивлялся странному стечению обстоятельств, которые давали причину верить в сверхъестественную силу лорда Ротвена.

Любовь Обрия к Ианфе усиливалась; ее невинность — столь несходная с притворной добродетелью тех женщин, среди которых он искал осуществления своих романтических видений, — очаровала его сердце; хотя он смеялся, воображая молодого человека, воспитанного в Англии и женатого на гречанке необразованной, но все более и более пленялся существом, столь близким к призраку сновидения. Часто он хотел от нее оторваться, составлял планы разысканиям древностей, хотел уехать и рещался не возвращаться прежде достижения цели, но всегда ему было невозможно остановить внимание на развалинах, его окружающих; в душе его жил образ, который казался единственным законным властителем его мыслей. Ианфа его любви не замечала; она была тем же детски-невинным, доверчивым существом, каким и прежде. Разлука с ним ей всегда была неприятна, но потому только, что ей не с кем было, кроме его, посещать свои любимые места, когда он занимался начертываньем или раскрытием некоторых обломков, еще уцелевших от разрушительной руки времени. Она спрашивала о вампирах у своих родителей, и все подтвердили их существование, побледнев от ужаса при одном их имени. Вскоре после Обрий решился снова отправиться на разыскания, на которые должно было употребить несколько часов. Когда он сказал название места, в которое хотел ехать, все в один голос просили его не возвращаться ночью, потому что ему необходимо должно было проезжать через известный лес, в котором ни один грек не согласится остаться после захождения солнца. Они говорили, что там сходбище вампиров во время их ночных оргий и что величайшие бедствия ожидают того, кто осмелится с ними встретиться. Обрий не уважил их предостережениями и старался осмеять их страх; но заметил, что они содрогаются от его насмешек над непреодолимой, адской силою, при одном имени которой их кровь холодела, — и замолчал.

* Газелли, род серн, особенно отличающийся своей красотой.



*Рисунки Эдуарда де Бомона
из книги Le Diable amoureux.
Roman fantastique par J. Cazotte.
Paris. 1845*

На следующее утро Обрий отправился один на разыскания; он удивился, увидев печальное лицо своего хозяина; ему казалось странным, что насмешки над страшными духами могли внушить ему такой ужас. Когда он совершенно уже готов был к отъезду, Ианфа подошла к его лошади и, смущенная, просила его возвратиться прежде, нежели наступит ночь, которая дает полную свободу действиям сих страшлищ; он обещал. Разыскания однако же так завлекли его внимание, что он не заметил скорого наступления ночи и не видал темных облачков, которые в странах полуденных быстро собираются в огромную тучу и бурей изливаются на землю. Наконец он сел на лошадь и решился поспешностию вознаградить потерянное время: но уже было поздно. Сумерки в полуденных странах почти неизвестны; как скоро село солнце — уже началась ночь; и прежде нежели он успел далеко отъехать, буря заревела над его головою — гром гремел почти не умолкая — частый и крупный дождь пробивался сквозь ветви дерев, и молния синей змеею, казалось, падала и блеснула у самых его ног. Вдруг лошадь испугалась и с ужасною быстротою понесла его по густому лесу. Она остановилась наконец от усталости, и он при блеске молний увидел вблизи хижину, полусокрытую под кучею желтых листьев и хвороста. Он сошел с лошади и поспешил туда, надеясь найти проводника до города или по крайней мере защиту от бури. Когда он приближался, гром на минуту замолк, и он услышал ужасные вопли женщины, смешанные с глухим адским смехом и сливающимися в один, почти непрерывный звук, — он оцепенел. Но пробужденный ударом грома, он сделал внезапное усилие и вломился в двери хижины. Густой мрак окружал его, но ужасный вопль был его путеводителем. Он кричал — но звуки не умолкали, и никто, казалось, его не замечал. Кто-то с ним столкнулся — и он схватил его; тогда закричал голос: «Опять попался!» — и громкий хохот был ответом. Обрий почувствовал, что его кто-то схватил с силою необыкновенной, и решился продать свою жизнь дорого; он боролся, однако напрасно: он был поднят на воздух и с ужасной силою брошен на землю. Противник бросился на него, стал коленом на грудь и положил руки ему на горло... Тогда свет нескольких факелов блеснул сквозь отверстие хижины. Противник Обрия вскочил, оставил добычу, бросился к двери, и через минуту уже не было слышно шума ветвей, которые он разделял в своем беге. Буря замолкла; и люди, бывшие близ хижины, скоро услышали голос Обрия, который лежал недвижимый. Они взошли; свет факелов упал на грязные стены и нечистый соломенный потолок. По желанию Обрия они пошли искать ту, которая привлекла его своим криком; он опять остался среди мрака; но как он был его ужас, когда факелы снова осветили хижину, внесли бездыханный труп, — и он увидел небесные черты своей Ианфы! Он закрыл глаза, надеясь, что это призрак расстроенного воображения; но взглянув снова, он снова увидел Ианфу, распростертую близ него. Бледность покрывала ее уста и ланиты; но на лице ее выражалось какое-то спокойствие, которое казалось почти так же привлекательно, как жизнь, прежде на нем игравшая; кровь была на шее и груди ее, а на горле виделись знаки зубов, разрезавших жилы: все окружающие указывали на эти знаки и, пораженные внезапным ужасом, закричали: «вампир, вампир!». Тотчас приготовлены были носилки, и Обрия положили рядом с той, которая недавно еще была для него предметом многих светлых и очаровательных видений, померкших вместе с поблекшим цветом ее жизни. Мысли его смешались — его ум находился в оцепенении, казалось, избегал сознания и искал отрады в удалении всех мыслей; он почти невольно держал в одной руке обнаженный кинжал странной работы, найденный в хижине. Они вскоре встретились со многими другими, посланными отыскивать Ианфу, об которой мать беспокоилась. Их жалобные крики во время приближения к городу предупредили родителей в чем-то ужасном. Описывать их отчаяние было бы невозможно; но узнавши причину смерти своей дочери, — они смотрели на Обрия и указывали на труп. Они были безутешны; горесть свела их в могилу.

Обрия положили в постель; он был в сильной горячке и часто бредил; в бреду он произносил имена лорда Ротвена и Ианфы — и по какому-то безотчетному соединению мыслей, казалось, просил у своего бывшего товарища пощады для существа любимого. Иногда он изливал проклятие на главу его и называл его убийцей Ианфы. Лорд Ротвен тогда случайно приехал в Афины, и — по каким бы то ни было причинам — узнавши об состоянии Обрия, немедленно перешел к нему в дом и начал постоянно ходить за ним во время болезни. Когда Обрий пришел в память, он содрогнулся от ужаса при виде того, которого образ теперь соединялся в нем с образом вампира; но лорд Ротвен своими ласковыми словами, изъявляя почти раскаяние в той ошибке, которая была причиною их разлуки, а более всего вниманием, заботливостью и попечениями, которые ему оказывал, скоро помирил его с собою. Лорд, казалось, совершенно переменился; он уже не был тем бесчувственным существом, которое так удивляло Обрия; но как скоро последний начал быстро выздоравли-

вать, он опять постепенно возвращался в прежнее состояние духа, и наконец Обрий опять увидел в нем прежнего; иногда только он с удивлением встречал взор лорда, внимательно на него устремленный, и видел, как на устах его играла улыбка злобной радости; Обрий не знал почему, но эта улыбка врезывалась в его сердце. В последнее время выздоровления больного заметно было, что лорд Ротвен наблюдал волны, воздымаемые легкими и прохладными ветрами на спокойной поверхности вод, и движение планет, подобно нашему миру обращающихся вокруг неподвижного солнца; казалось, он желал укрыться от всех взоров.

Дух Обрия был сильно потрясен; и то эластическое свойство ума, которое некогда отличало его, казалось, навсегда исчезло. Он начал так же любить уединение и молчание, как лорд Ротвен; но как он ни стремился к уединению, он не мог найтти его близь Афин; когда он искал его среди развалин, им прежде посещаемых, образ Ианфы за ним следовал; когда он углублялся в лес, она, казалось, легкими шагами мелькала в кустах и собирала скромные фиалки... она внезапно обращала голову, — и расстроенное воображение представляло ему ее бледное лицо, окровавленную шею и томную улыбку. Он решился бежать от тех мест, где все производило в душе его такие горькие воспоминания. Он предложил лорду Ротвену, которому считал себя обязанным за нежные попечения, оказанные во время его болезни, ехать в те страны Греции, где они оба еще не были. Они путешествовали по всем направлениям и отыскивали все те места, с которыми связывались исторические воспоминания; но хотя они с поспешностью переезжали из места в место, — наблюдаемые предметы, казалось, не привлекали их внимания. Они много слышали об разбойниках, но постепенно начали забывать об этих известиях, думая, что те, которые им об них говорили, хотели только воспользоваться их щедростью и быть их защитниками от вымышленных опасностей. Таким образом, не уважив предостережениями, они отправились однажды, взявши с собою немногих из жителей, более для указания дорог, нежели для защиты. Однако же в одной узкой теснине, — среди которой находилось русло потока и которая была окружена огромными скалами, обрушившимися с ближних гор, — они имели причину раскаиваться в своей небрежности; находясь уже в теснине со всеми проводниками, они вдруг остановились, изумленные свистом пуль, пролетевших мимо их ушей, и раздавшимся громом нескольких ружей. Проводники в то же мгновение оставили их и, скрывшись за скалами, начали стрелять туда, откуда были выстрелы. Лорд Ротвен и Обрий, следуя примеру их, также на минуту скрылись в одном извороте теснины; но устыдившись того, что их удерживают разбойники, слыша оскорбительные восклицания, которыми они вызывали их, и предвидя неизбежную погибель, если б один из разбойников взлез на высоту и напал на них с тыла, — они решились броситься вперед на неприятеля. Едва успели они оставить за собой скалу, их защищавшую, как лорд Ротвен упал, раненный пулей в плечо. Обрий поспешил к нему на помощь; и, забыв о сражении и собственной опасности, изумлен был, вдруг увидя вокруг себя лица разбойников: проводники вместе с падением лорда Ротвена положили оружие и сдались.

Обещая большую награду, Обрий скоро уговорил их отнести своего раненого друга в одну ближнюю хижину; и условившись в выкупе, они уже не беспокоили его своим присутствием — и стерегли только вход хижины, ожидая возвращения одного из своих товарищей с обещанной суммой, на получение которой ему дано было приказание. Силы быстро оставляли лорда Ротвена; через два дня сделался антонов огонь, и смерть, казалось, приближалась быстрыми шагами. Его поведение и наружность не изменились; он, казалось, так же бесчувствен был к боли, как и ко всем предметам, его окружающим; но под конец последнего вечера видно было в нем заметное беспокойство, и глаза его часто внимательно устремлялись на Обрия, который предлагал ему свою помощь еще с большим жаром, нежели прежде.

— Помогите мне! вы можете меня спасти — вы можете еще больше — я говорю не о жизни, об смерти я так же мало забочусь, как и о вчерашнем дне; но вы можете спасти честь мою, честь вашего друга.

— Как же? скажите, как! я на все готов, — отвечал Обрий.

— Мне нужно немного — жизнь моя быстро отлетает — я не могу объяснить всего — но если вы согласитесь скрыть все, что обо мне знаете, моя честь останется чиста перед лицом света, — если бы моя смерть осталась на несколько времени в Англии неизвестною — я — я — но жизнь...

— Она будет неизвестна.

— Клянитесь! — закричал умирающий, приподнявшись с последним усилием, — клянитесь всем, что для вашей души священно, всем, что для нее ужасно, что в продолжении года и одного дня вы ни одному живому существу, никаким образом, не будете со-

общать того, что знаете о моих преступлениях или моей смерти; что бы ни случилось, что бы вы ни увидели. — Напряженные глаза его, казалось, хотели вырваться.

— Клянусь, — сказал Обрий. Он с хохотом упал на постель свою и уже не дышал.

Обрий ушел, желая отдохнуть несколько, но заснуть не мог; все обстоятельства, сопровождавшие его знакомство с лордом, возобновились в его воображении; и он не знал почему, но при воспоминании о данной клятве холод пробегал по всем членам его; казалось, предчувствие чего-то ужасного, его ожидающего, наполняло сердце. Вставши рано поутру, он хотел взойти в хижину, где оставил умершего; но один из разбойников с ним встретился и сказал, что тела уже там нет; что он со своими товарищами, когда Обрий ушел, отнес его на вершину одной из ближних гор, согласно с обещанием, данным лорду, который требовал, чтобы его тело выложили на первый холодный луч луны, которая взойдет после его смерти. Обрий был удивлен и, взявши с собою несколько человек, решился идти к тому месту, где положили тело, и там схоронить его. Но взошедши на вершину горы, он не нашел следов ни тела, ни одежды; хотя разбойники клялись, что стоят на той самой скале, на которую они его положили. Воображение Обрия несколько времени терзалось в предположениях, но он возвратился наконец, уверившись, что разбойники зарыли тело, желая воспользоваться одеждою.

Страна, в которой он поражен был столькими ужасными несчастиями, где все, казалось, было соединено для усиления суеверной меланхолии, овладевшей духом его, — наконец ему сделалась тягостна; он решился ее оставить и скоро прибыл в Смирну. Ожидая корабля, на котором должен был переправиться в Отранто или Неаполь, он занялся приведением в порядок вещей, оставшихся у него после лорда Ротвена. Между прочими вещами был один ящик с различным оружием, более или менее приспособленным к верхнейшему умерщвлению жертвы. Там было много различных кинжалов и атаганов*. Перебирая их и рассматривая их странную отделку, он удивлен был, когда нашел одни ножны, которых оправа показалась ему очень сходна с оправой кинжала, найденного в ужасной хижине, — он содрогнулся, — спеша увериться, он отыскал кинжал, и пусть вобразят его ужас, когда он увидел, что ножны, которые были у него в руках, совершенно приходились к кинжалу, несмотря на необыкновенную форму его. Глаза его, казалось, не нуждались в большей уверенности — они как бы прикованы были к кинжалу; он все еще желал разувериться; но необыкновенная форма, совершенно одинакие оттенки цветов на рукояти и ножнах, равно блестящие, не оставляли места его сомнениям; кровь была видна и на ножнах, и на кинжале.

Он оставил Смирну, и на возвратном пути в отечество, в Риме, его первой заботой было справиться о той девушке, которую он старался защитить от обольщений лорда Ротвена. Ее родители были в несчастии и бедности, она же — пропала без вести с тех пор, как лорд уехал. Такие повторенные удары почти сокрушили душу Обрия; он содрогался при мысли, что эта девушка сделалась жертвою того, кто погубил Ианфу. Он стал пасмурен и молчалив; не занимался ничем и только побуждал извозчиков ехать скорее, как бы спеша спасти жизнь существа, для него драгоценного. Он прибыл в Кале; попутный ветер скоро принес его к берегам Англии; он поспешил к жилищу предков своих и там на время, казалось, забыл, в объятиях любимой сестры, все воспоминания о прошедшем. Если прежде, своими детскими ласками, она приобрела его привязанность, то теперь, когда она уже начинала вступать в зрелый возраст, он еще сильнее любил ее как друга.

Мисс Обрий не имела тех блестящих прелестей, которые привлекают взоры и восхищают в многолюдных собраниях. В ней не было того легкого блеска, который существует только в душной атмосфере гостиных, наполненных толпами народа. Из ее голубых глаз никогда не сияла легкость ума. Но в них выражалась какая-то очаровательная меланхолия, которая, казалось, происходила не от несчастия, но от внутреннего чувства души, знакомой с миром высшим и светлым. Она не принадлежала к тем легким существам, которые готовы лететь всюду, куда привлекает их мотылек или блестящий цвет, — ее поступь была медленна и задумчива. Когда она была одна, никогда улыбка радости не оживляла ее лица, но когда брат изливал перед ней свои чувства и в ее присутствии забывал горести, разрушившие его спокойствие, — кто променял бы тогда улыбку ее на улыбку сладострастия? Казалось, ее глаза, ее лицо — играли тогда светом своей родимой, небесной стороны. Ей было только восемнадцать лет, и она еще не являлась в свете, потому что опекуны ее считали приличнейшим отложить ее представление до того времени, как брат возвратится с твердой земли, и она будет иметь в нем защитника. Итак, теперь положили,

* *Атаган*, длинный турецкий кинжал.

чтобы следующее Собрание, которому надлежало быть вскоре, было эпохой ее появления в «большой свет». Обрий желал бы лучше остаться в жилище предков своих и там питаться меланхолией, которая все более и более им овладевала. Суетные удовольствия модного света не могли занимать его, когда его душа была так растерзана испытанными несчастьями; но он решился пожертвовать собственным влечением для сестры. Они скоро прибыли в город и готовились к следующему дню, в который было объявлено Собрание.

Народа было чрезвычайно много — Собрания уже не было давно, и все, желавшие видеть улыбку монарха, туда спешили. Обрий был там с сестрою. Он стоял в углу, погруженный в самого себя, не замечая ничего окружающего, и воспоминание возобновляло перед ним то время, когда он в первый раз увидел лорда Ротвена на этом самом месте; вдруг он почувствовал, что его кто-то схватил за руку, и голос, слишком знакомый, раздался в его слухе: «Не забывайте клятвы». Он едва имел смелость оборотиться, боялся встретить убийственный взор мертвеца и недалеко от себя увидел то самое лицо, которое привлекло его внимание на этом же самом месте во время его первого вступления в свет. Он не мог отвести от него взора — откуда силы его оставили; опершись на одного из своих друзей, он проложил себе дорогу сквозь толпу, бросился в свою карету и был отвезен домой. Он скорыми шагами ходил взад и вперед по комнате, закрыв голову руками; казалось, он боялся, чтобы не вырвались ужасные мысли. Лорд Ротвен, снова перед ним явившийся, — кинжал — клятва — все эти соединенные обстоятельства сильно потрясали его душу. Он старался ободриться и не хотел верить возможности — чтобы мертвые восстали! Он думал, что этот образ был силой очарования прикован к его воображению. Он не верил, чтобы это могло быть в действительности — и решился возвратиться в общество; он старался расспросить об лорде Ротвене, но имя его замирало на его устах, и он ничего не мог узнать. Спустя несколько дней он в один вечер поехал с сестрою в общество своих близких родственников. Оставив сестру под покровительством одной замужней женщины, он ушел в отдаленную комнату и там предался своим мучительным мыслям. Заметив наконец, что гости начали разъезжаться, он опомнился и взошедши в гостиную, нашел сестру свою, окруженную большим обществом; все казались очень заняты разговором. Он хотел подойти к ней ближе, когда один из гостей, которого он просил посторониться, оборотился, и он увидел черты, более всего для него ненавистные. Он бросился вперед, схватил сестру свою за руку и быстрыми шагами увел из комнаты; в сенях остановила его толпа слуг, которые ждали господ своих, и покида он пробивался сквозь толпу, тот же голос прошептал ему на ухо: «Не забывайте клятвы!» Оборотиться он не имел духа, но побуждая сестру к поспешности, он скоро приехал домой.

Обрий был близок к сумасшествию. Если и прежде один предмет поглощал все его чувствования, то теперь уверенность в том, что чудовище возвратилось из могилы, еще сильнее тяготела на мыслях его. Он уже не замечал ласк своей сестры, и напрасно она просила его объяснить причину его странного поведения. Он произносил только несвязные слова, которые приводили ее в ужас. Чем более он думал, тем более смешивались его мысли. Клятва его ужасала: ужели он должен был равнодушно смотреть, как это чудовище повсюду несет разрушение с дыханием своим, живет вблизи тех, которые для него всего дороже, — и не препятствовать его успехам? Даже и сестра его могла быть в опасности. Но если б он и нарушил клятву свою, открыл свои подозрения, — кто бы ему поверил? Он думал собственной рукою избавить свет от такого изверга — но вспомнил, как в его же глазах смерть явила над ним свое бессилие. По целым дням он оставался в таком состоянии; не видался ни с кем и принимал пищу только тогда, когда приходила сестра и со слезами его умоляла хотя для нее сохранять жизнь свою. Наконец, уже не в силах будучи переносить уединение и молчание, он выбежал из дому и бродил из улицы в улицу, стараясь отогнать от себя образ, его терзавший. Небрежность была видна в его одежде, и он так же часто бродил среди знойных лучей полуденного солнца, как и среди полуночных туманов. Узнать его было невозможно; сначала он приходил домой с наступлением вечера, но наконец он уже не заботился об месте; и засыпал везде, где его застигало изнеможение. Сестра его, заботясь об его безопасности, посылала за ним проводников, но они скоро теряли его из виду; он бежал от быстрейшего из преследователей — от мысли. Его поведение однако же внезапно переменилось. Пораженный мыслию, что он своим отсутствием оставляет в кругу друзей своих изверга, присутствия которого они и не подозревают, он решился снова вступить в общество, пристально наблюдать за ним и, невзирая на клятву, предостерегать всех, с кем он будет находиться в близких сношениях. Но когда он вступал в общество, его дикие и подозрительные взгляды были так разительны, его внутреннее содрогание было так заметно, что сестра наконец принуждена была просить его, чтобы он оставил

общество, которого искал для нее только и которое на него так сильно действовало. Видя однако же, что все убеждения были бессильны, опекуны почли за нужное принять свои меры и, считая его сумасшедшим, думали, что обязаны снова принять на себя ту должность, которая прежде им поручена была родителями Обрия.

Желая спасти его от оскорблений и страданий, ежедневно встречаемых им на улицах, и скрыть от света те признаки, которые они считали сумасшествием, они поручили доктору безотлучно жить в его доме и неусыпно смотреть за ним. Он едва заметил это, так исключительно одна ужасная мысль овладела всем его духом. Его забывчивость наконец достигла такой степени, что его принуждены были не выпускать из комнаты. Там он часто проводил по целым дням, неспособный опомниться. Он иссох как скелет, впалые глаза его потеряли свой блеск — и единственные знаки привязанности и памяти являлись тогда, когда сестра к нему приходила; тогда он часто вскакивал, схватывал руки ее и, устремив на нее взор, который глубоко ее огорчал, умолял ее, чтобы она к нему не прикасалась.

— О! не прикасайся к нему — если ты хотя несколько любишь меня, не подходи к нему близко!

Но когда она спрашивала, об ком он говорит, он отвечал только: «Правда! правда!» и снова впадал в то же состояние, из которого даже и она не могла его вывести. Так прошло несколько месяцев; постепенно однако же, с прохождением года, припадки забывчивости становились реже и душа его свергала с себя часть своей мрачности; опекуны заметили, что по несколько раз на день он считал по пальцам определенное число и улыбался.

Роковое время уже почти протекло, когда в последний день года один из опекунов, взшедши в комнату, начал говорить с его доктором и жалеть, что Обрий находится в таком ужасном положении, когда сестра его идет замуж. Это внезапно привлекло внимание Обрия; он поспешно спросил: за кого? — Такой знак возвращающегося рассудка, которого, как они думали, он лишился, обрадовал их, и они назвали герцога Марсденского. Думая, что это один молодой герцог, с которым он встречался в обществе, Обрий, казалось, был обрадован и еще более удивил их, объявив свое намерение быть на свадьбе и желание видеть сестру. Они не отвечали, но через несколько минут сестра была с ним. Казалось, ее милая улыбка снова начинала трогать его; он прижал ее к груди своей и целовал в лицо, омоченное слезами, которые лились из ее глаз при мысли, что брат ее снова ожил для чувств привязанности. Он начал говорить со всей своей привычной горячностью и поздравлять ее с женихом, столь отличным по сану и дарованиям; тогда он вдруг увидел медальон на ее груди, и каково было его удивление, когда раскрывши его, он узнал черты того чудовища, которое так долго имело влияние на его жизнь. Он схватил портрет и в припадке бешенства топтал его ногами. Когда она спросила его, за что он разбил изображение ее жениха, он взглянул на нее, как будто ее не понимает, — потом схватил ее руку и, вперив на нее взор, выражающий сумасшествие, просил ее клясться, что она никогда не будет женою такого чудовища, потому что он — но продолжать он не мог; ему казалось, что тот же голос напоминает ему клятву, — он оборотился, думая, что лорд Ротвен стоит подле него, — но никого не было. Между тем опекуны и доктор, которые все слышали и думали, что это новый припадок сумасшествия, взошли и, вырвав из рук его мисс Обрий, просили ее выйти. Он упал перед ними на колени и просил, умолял их, чтобы они хотя на один день отложили свадьбу. Но они, приписывая все сумасшествию, старались его успокоить и ушли.

Лорд Ротвен, на другой день после собрания, приезжал к Обрию, но не был принят, так же как и все другие. Услышав о болезни Обрия, он тотчас понял ее причину; но узнав, что это считают сумасшедшим, он едва мог скрыть свою радость от тех, которые сообщили ему это известие. Он поспешил в дом своего прежнего товарища и частыми посещениями, рассказами о своей дружбе к брату и участии в его судьбе скоро успел снискать хорошее мнение мисс Обрий. Кто мог противиться его могуществу? Он рассказывал о перенесенных опасностях и трудах, — мог говорить о себе как о человеке, не имеющем сочувствия ни с одним существом на многолюдной земле, кроме той, с которой говорил; мог уверять, что с тех пор только, как узнал ее, он начал дорожить жизнью, хотя бы для того только, чтобы слышать утешительные звуки ее голоса, — словом, он так владел змеиным искусством или такою была воля судьбы, что он приобрел ее привязанность. Он получил наконец титул старшей линии, и ему поручили важное посольство, которое послужило предлогом к ускорению свадьбы, несмотря на расстроенное положение Обрия; свадьба назначена была в самый день его отъезда на твердую землю.

Обрий, когда ушли опекуны и доктор, старался подкупить слуг, но напрасно. Он просил перо и бумаги; его желание исполнили; он написал письмо к сестре и заклинал ее,

чтобы она — если дорожит своим счастьем, своей честью и честью тех, которые уже покоятся в могиле, но некогда держали ее в своих объятиях и видели в ней свою надежду и надежду своего рода, — хотя на несколько часов отложила свадьбу, которую он осыпал самыми тяжкими проклятиями. Слуги обещали отдать письмо; но они показали его доктору, а доктор думал, что лучше уже не нарушать спокойствия мисс Обрий письмом, которое считал бредом сумасшедшего. Ночь проходила — но никто в доме не предавался спокойствию; и легче понять, нежели описать, с каким ужасом Обрий слышал звуки деятельных приготовлений. Настало утро — и он услышал стук карет. — Обрий был почти сумасшедший. — Наконец любопытство слуг одержало верх над их бдительностью; они постепенно все ушли, оставя его под присмотром одной слабой женщины. Он воспользовался случаем; одним прыжком вырвался из комнаты и через минуту был там, где уже все почти собрались. Лорд Ротвен первый увидел его; он немедленно к нему подошел, и силой взявши за руку, поспешно вывел из комнаты, потеряв голос от бешенства. Когда они уже были на лестнице, лорд Ротвен прошептал ему на ухо: «Не забывайте клятвы и знайте, что если сегодня же ваша сестра не будет моей женою, то она обещана. Женщины слабы!» — Сказав это, он бросил его к слугам, которые искали его, встревоженные женщиной. Обрий уже не мог держаться на ногах; его бешенство, не могущее выразиться, разорвало кровеносный сосуд; и его отнесли в постель. Сестре его, которой не было в комнате, когда он взошел, ничего не сказывали; доктор боялся ее огорчить. Обряд венчания совершился, и молодые оставили Лондон.

Слабость Обрия увеличивалась; потеря крови произвела признаки близкой смерти. Он просил, чтобы позвали опекунов, и когда пробило полночь, подробно рассказал все, теперь вами читанное, — тотчас после он умер.

Опекуны спешили зачитать мисс Обрий; но уже было поздно. Лорд Ротвен исчез, и сестра Обрия уже утолила кровавую жажду — *Вампира*.

ПРИМЕЧАНИЕ

Суеверие, на котором основана эта повесть, распространилось по всему почти Востоку. Между арабами оно весьма обыкновенно: но оно еще не было известно грекам до введения христианства и приняло настоящий вид свой только со времени отделения восточной церкви от западной: тогда распространилась мысль, что тело человека, исповедовавшего латинскую веру, схороненное на земле греческой, не подвержено тлению, — и, постепенно усиливаясь, сделалась предметом многих чудесных рассказов, еще до сих пор сохранившихся: о мертвецах, встающих из могил и питающихся кровью молодых и прекрасных женщин. На Западе это суеверие распространилось с некоторыми легкими изменениями в Венгрии, Польше, Австрии и Лоррене, где верили, что вампиры испивают ночью известное количество крови из своих жертв, которые начинают чахнуть, теряют силы и скоро умирают от истощения; между тем как кровопийцы толстеют, — и жилы их наконец так расширяются от наполнения, что кровь течет изо всех отверстий тела и даже сквозь поры кожи.

В *Лондонском журнале* (The London Journal) 1732 года, в марте, есть любопытное и, по обыкновению, *достоверное* известие об одном странном случае вампиризма, бывшем, как говорят, в Мадрейге, в Венгрии. Главный начальник этого города, как сказывают, и все чиновники положительно и единогласно подтвердили, что лет за пять перед тем слышали от одного гейдука, по имени Арнольда Поля, что в Кассовии, на границах Турецкой Сербии, его мучил вампир; но что он нашел средство избавиться от зла, им причиняемого, съевши несколько кусков земли из могилы вампира и натершись его кровью. Несмотря на эту предосторожность, однако же, он сам сделался вампиром*; и через двадцать или тридцать дней после его смерти и погребения многие жаловались на то, что он мучил их, и все подтвердили, что четыре человека от него лишились жизни. Дабы предупредить дальнейшее зло, все жители, посоветовавшись с своим гадагни**, открыли тело и нашли, что оно (подтверждая предание о вампирах) было свежо, совершенно не испортилось, и что изо рта, ушей и носу текла чистая и алая кровь. Удостоверившись таким образом, они приступили к обыкновенному средству против вампиров. Когда вбили кол прямо в сердце Арнольда Поля, он, говорят, закричал так ужасно, как живой. Потом отрубили ему голову, сожгли тело и пепел бросили в могилу. Те же меры были приняты и с телами других, еще прежде умерших от вампиризма, для того, чтоб и они также не бродили вампирами.

* Вообще думают, что те, которых кровь пил вампир, сами делают вампирами и также питаются кровью.

** *Гадагни*, главный старшина.

Это известие рассказано здесь для того, что оно может служить самым лучшим пояснением для нашего предмета. В некоторых частях Греции вампиризм считают некоторого рода наказанием после смерти за какое-либо ужасное преступление во время жизни; и думают, что умерший тогда не только осужден быть вампиром, но что он должен обращать свои адские посещения только к тем существам, которые были для него на земле всего дороже, — к тем, с которыми соединен был узами родства и любви. К этому относится одно место в «Гяуре».

«Но прежде — обреченный бродить по земле вампиром, твой труп исторгнут будет из могилы; ты привидением будешь пугать свою родину и пить кровь своего племени; там твоя дочь, сестра, жена будут в полночь утолять твою кровавую жажду потоком жизни своей; но тягостна для тебя будет пища, которой ты *против воли* должен будешь питать свой бледный, живой труп. Прежде, нежели жертвы твои испустят дыхание, они тебя узнают; они будут проклинать тебя, ты будешь проклинать их, — и твои цветы поблекнут. Но одна из жертв, за *твоё преступление* обреченная смерти, изо всех прекраснейшая, более всех тобою любимая, будет тебя приветствовать именем *отца*, — и это слово бросит пламя в сердце твое! Ты довершишь свой ужасный пир и увидишь, как исчезнет последний румянец с ее ланит, как потухнет последняя искра жизни в очах ее; увидишь безжизненный блеск ее голубых очей, омраченных смертью. Тогда, преступной рукой, ты сорвешь с ее чела золотые локоны — из которых бы каждый во время жизни ее был драгоценнейшим залогом любви — и будешь носить их с собой как памятник твоего злодейства! Твои скрежещущие зубы и разверстые уста будут обгарены твоею собственной, чистой кровью. Тогда, стремясь к мрачной могиле, иди — и броди с *Гулами* и *Афригами*, покуда и они отпрянут с ужасом от чудовища, даже и их превзошедшего в злодеянии».

Саути, в своей прекрасной поэме «Thalaba» изображает одну аравитянку Онейзу, сделавшуюся вампиром; она возвращается из могилы и мучит того, которого более всего любила в жизни. Нельзя предположить, однако же, чтоб это было наказанием за грехи ее жизни, потому что она в продолжении всей поэмы является примером чистоты и невинности. Достоверный Турнфорд также рассказывает в своих путешествиях многие удивительные случаи вампиризма, которых он, как говорит, был очевидцем; и Кальмет в своем пространном сочинении об этом предмете, рассказывая множество различных анекдотов и преданий, к оному относящихся, ученым рассуждением доказывает, что это суеверие было известно и древним.

Можно бы сказать еще множество любопытных и занимательных известий об этом ужасном суеверии; но теперь бы они заняли слишком много места, а потому будем довольствоваться уже сказанным и прибавим только, что хотя название *Вампир* более других известно, но есть, однако же, и многие с ним однозначные, которые в различных странах мира употребляются; так например, Вампир называется также: *Вруколоха*, *Вардулаха*, *Гул*, *Бруколока* и пр.



Рисунки Эдуарда де Бомона
из книги *Le Diable amoureux*.
Roman fantastique par J. Cazotte.
Paris. 1845

О Т Р Ы В О К

из одного недоконченного сочинения Байрона

В 17... году, решившись посвятить несколько времени на обозрение стран, до сих пор редко посещаемых путешественниками, я отправился вместе с одним другом, которого назову здесь Августом Дарвеллем. Он был немногими годами старше меня, происходил от древней фамилии, был довольно богат — и по своему обширному уму вполне ценил сии преимущества, хотя и не гордился ими. Некоторые особенные обстоятельства его частной жизни сделали его для меня предметом внимания, любопытства и даже уважения; и несмотря на отдаляющую холодность обхождения его, ни на порывы беспокойства, которые часто казались в нем близкими к сумасшествию, — ничто не могло угасить во мне этих чувств.

Я еще молод был в жизни, которую начал рано, и еще недавно с ним познакомился коротко. Мы воспитывались в одной школе и учились в одном университете; но он опередил меня своими успехами и был уже глубоко посвящен в таинства так называемого «большого света», между тем как я еще был неопытным начинателем. Я много слышал о его прошедшей и настоящей жизни, и хотя в этих слухах было много несообразных противоречий, но из суммы их можно было видеть, что он не принадлежит к разряду существ обыкновенных, и несмотря на все его старания скрываться, всегда был бы человеком заметным. Я постоянно поддерживал знакомство и старался выиграть дружбу его, но последняя казалась недостижима; каковы бы ни были прежние страсти его, но некоторые из них, казалось, угасли, другие сосредоточились во глубине сердца. Я имел довольно случаев заметить, что чувства его были сильны; хотя он владел собою, но совершенно их скрыть не мог; он однако же так умел одной страсти давать вид другой, что всегда было трудно угадать, что потрясает его внутренность, и выражение лица его переменалось хотя и разительно, но так быстро, что его определить было невозможно. Какое-то неизлечимое горе, очевидно, его мучило; но было ли причиною страданий его честолюбие, или любовь, или раскаяние, или утрата, или все вместе, или природная меланхолия, почти болезненная, — я не мог узнать: многие явления говорили в пользу каждой из причин, но — как я уже сказал — все так противоречило одно другому, что ни на одном нельзя было остановиться с уверенностью. Где есть тайна, там обыкновенно предполагают и зло: не знаю, справедливо ли это, но в нем безо всякого сомнения была первая, хотя я никогда не мог определить степень последнего, — и привыкши его уважать, мне всегда было тяжело верить, что оно в нем существует. Знаки внимания, мною оказываемые, были приняты довольно холодно; но я был молод и нелегко отказывался от принятого намерения; наконец мне удалось сблизиться с ним до некоторой степени и выиграть небольшую доверенность в обыкновенных и ежедневных обстоятельствах, которая рождается от сходства занятий и частых свиданий и называется коротким знакомством или дружбою — смотря по понятиям, какие с этими словами связывают.

Дарвелль уже путешествовал много; и я обратился к нему, прося совета для удобнейшего совершения предположенного путешествия. Тайное мое желание было уговорить его ехать вместе; и я имел причину надеяться, зная его равнодушие к предметам, непосредственно его окружающим, и еще прежде заметив в нем какое-то мрачное беспокойство, которое усиливалось при мысли о странах отдаленных, видимо оживлявшей дух его. Сначала я говорил намеками и наконец высказал свое желание; его ответ, хотя не совсем неожиданный, имел однако же для меня всю прелесть нечаянности — он согласился; и устроивши все нужное, мы отправились. Проехав многие страны полуденной Европы, мы решились посетить Восток, согласно с предположенным планом путешествия, и время, в которое мы путешествовали по сим странам, ознаменовалось для меня происшествием, которое будет главным основанием всего моего рассказа.

Судя по наружности, Дарвелль был в ранней молодости сложения необыкновенно крепкого, но с некоторого времени силы начали его постепенно оставлять, хотя не было в нем заметно никаких признаков болезни: у него не было ни кашля, ни жара, и с каждым днем однако же он видимо ослабевал: он вел жизнь умеренную, не изменялся в наружности и не жаловался на усталость, но силы его видимо угасали: он час от часу делался молчаливее, терял сон, и наконец так переменился, что я начал сильно беспокоиться, и чем более опасность, как мне казалось, увеличивалась, тем более возрастало мое беспокойство.

Прибывши в Смирну, мы хотели посетить развалины Эфеса и Сард. Видя его расстроенное положение, я старался отговорить его от этого намерения — но напрасно: казалось, что-то тяготело на душе его, в поведении его было нечто торжественное, и я не мог понять, почему он с такой жадностью стремится к поездке, в которой я видел одну только цель — удовольствие, и которая могла только повредить больному; но я более не противился ему — и через несколько дней мы отправились, в сопровождении одного лекаря и янычара.

Мы проехали половину дороги к развалинам Эфеса, оставили за собой плодородные окрестности Смирнские и выезжали уже на заглохшую дорогу, окруженную болотами и теснинами, ведущую к немногим хижинам, оставшимся среди разрушенных колонн храма Дианы — среди голых стен церквей изгнанного христианства и развалин оставленных мечетей, еще недавно, но совершенно разрушенных, — когда внезапное и быстрое изнеможение моего товарища принудило нас остановиться на одном турецком кладбище, где только могильные камни, украшенные чалмами, свидетельствовали, что некогда люди обитали в сей пустыне. Единственный каравансерай, который мы видели, остался далеко за нами; перед нами не было следа ни города, ни даже хижины, которой бы мы могли надеяться достигнуть, и селение мертвых, нас окружавшее, по-видимому, было единственным убежищем, представлявшимся моему несчастному другу, которому, казалось, судьба назначила быть последним его обитателем.

В этом положении я искал глазами места, где бы ему было можно отдохнуть: здесь не представлялось обыкновенного вида магометанских кладбищ, кипарисов было мало, и они изредка рассеяны были по всему пространству; могильные камни по большей части заросли и изгладились от времени; Дарвелль облокотился на один из самых больших камней, находящийся под самым развесистым кипарисом, — и едва мог держаться на ногах. Он просил воды. Я сомневался в возможности найти источник и готовился идти его отыскивать — но он просил меня остаться; и обратясь к Сулейману, нашему янычару, который спокойно курил подле нас трубку, сказал: *Сулейман, вербана су* (принеси воды) и с большой подробностью начал описывать место, которое находилось от нас около ста шагов вправо и где был небольшой источник для верблюдов; янычар повиновался.

— Как вы знаете это место? — спросил я у Дарвелля.

— По нашему положению, — отвечал он. — Вы видите, что это место было некогда населено, и потому необходимо должен быть источник поблизости. К тому же я был здесь и прежде.

— Вы были здесь прежде! Как же вы никогда об этом не говорили? и что же вы делали здесь, где может остановиться только одна необходимость?

Мой вопрос остался без ответа. Между тем Сулейман возвратился с водою, оставив лекаря и лошадей у источника. Утоление жажды, казалось, на минуту оживило Дарвелля; я получил надежду на возможность ехать далее или по крайней мере возвратиться назад, и сказал ему свое желание. Он молчал — и, казалось, собирал силы, готовясь говорить. Наконец он сказал:

— Здесь конец моего путешествия и моей жизни — я пришел сюда с тем, чтобы умереть; но я еще должен сказать вам свое желание — требование — таковы должны быть мои последние слова — исполните ли вы?

— Не сомневайтесь; но я еще имею надежду.

— Я не имею ни надежды, ни желания; прошу только одного: ни одно живое существо не должно знать о смерти моей.

— Я надеюсь, что этого не нужно; что вы выздоровеете...

— Нет! — так должно быть: обещайте.

— Обещаю.

— Клянитесь всем, что...

Здесь он сказал торжественную клятву.

— Этого не нужно — я и без того исполню ваше желание; а сомневаться во мне, значит —

— Я не могу иначе, — вы должны клясться.

Я произнес клятву; это, казалось, облегчило его. Он снял с руки перстень, на котором изображено было несколько арабских букв, и подал мне.

— В девятый день месяца, — продолжал он, — ровно в полдень — какого хотите месяца, но непременно в девятый день — бросьте этот перстень в соленые источники, изливающиеся в залив Элевзинский; на другой день, в тот же самый час, придите к развалинам храма Цереры и один час подождите.

— Для чего же?

- Увидите.
- В девятый день месяца?
- В девятый.

Когда я заметил, что и теперь девятый день месяца, он изменился в лице и замолчал. Когда он сел, очевидно ослабев еще более, аист с змеею во рту опустился на один из могильных камней близко к нам, и, не пожирая своей добычи, казалось, устремил на нас глаза свои. Не знаю, что побудило меня согнать его, но мое покушение было тщетно; он сделал несколько кругов на воздухе и возвратился на то же самое место. Дарвелль указал на него, улыбнулся и сказал — не знаю, мне ли или самому себе: «Хорошо!»

— Что вы хотите сказать?

— Ничего; сего дня ввечеру схороните меня здесь, на том самом месте, где эта птица теперь сидит. Прочие желания мои вы знаете.

Потом он начал говорить мне различные способы, как лучше всего скрыть его смерть, и наконец воскликнул: «Видите ли эту птицу?»

— Вижу.

— И змею, извивающуюся во рту ее?

— Вижу; тут нет ничего удивительного; это ее обыкновенная добыча. Но странно, что она ее не съедает.

Судорожная улыбка мелькнула на его лице, и он сказал слабым голосом: «Еще не время!» Между тем аист улетел. Не больше двух минут я провожал его глазами. Я почувствовал, что тяжесть Дарвелля увеличивается на плече моем, оборотился, взглянул на его лицо и увидел, что он уже умер!

Меня поразила его внезапная смерть, в которой сомневаться было невозможно — через несколько минут он совершенно почти почернел. Такую скорую перемену я приписал бы яду, если бы не знал, что невозможно было отравить его втайне от меня. Солнце садилось, тело портилось быстро, и нам оставалось только исполнить его последнюю волю. С помощью Сулейманова атагана и моей сабли мы вырыли могилу на месте, назначенном Дарвеллем: земля, уже заключавшая в себе труп какого-то магометанина, уступала без труда. Мы рыли так глубоко, как время нам позволило, и засыпав сухой землею последние остатки таинственного существа, еще так недавно умершего, мы вырезали несколько зеленых дернин среди поблекшей равнины, нас окружающей, и ими прикрыли могилу.

Пораженный горестию и удивлением, я не мог плакать...



РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК (1992)

БЕЗДНА

«Я»
на границе страха
и абсурда



КОНЦЕРН

Санкт-Петербург